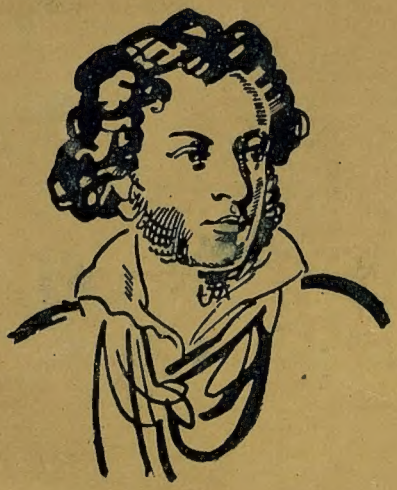
83.3(2Рос=Рус)1
К 75

С. Д. КОЦЮБИНСКИЙ



ПУШКИН В КРЫМУ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО КРЫМ. АССР
1 9 3 7

Возвратить книгу не позже установленного срока

2005 г.

27.05 - 2018 г.			2017	
2007			25.11.	- 184
22.11 - 25			21.06.	- 388
11.05 - 39			25.12	- 7
02.06 - 2			2018	
2018			06.02 -	44
01.08 - 14			09.06 -	77
			18.06 -	156

ORDM NESR

А. С. ПУШКИН.

Портрет работы худ. Тропинина 1827 г.

83.3(2Рос=Рус)1
К 75
Къыйметли фонд
Ребр
0.3.

АЛУПКИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДВОРЕЦ-МУЗЕЙ

С. Д. КОЦЮБИНСКИЙ
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК АЛУПКИНСКОГО МУЗЕЯ

ПУШКИН В КРЫМУ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Я. П. БИРЗГАЛА

Замеченные опечатки

Страница	Строка	Напечатано	Следует
11	5 св.	растраченные	утраченные
36	17 св.	противоречия	противуречия
40	7 св.	золотит.	богатит.
56	28 св.	И дум	И душ
70	17 св.	На берега	На берегах
76	6 сн.	Декабристы	Декабристки
82	9 св.	Журчи свою мне быль...	Журчи, журчи свою мне быль...
88	6 сн.	И вечер	И ветер
98	9 св.	Как	Так
116	17 сн.	любимцам	любимицам

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО КРЫМ. АССР
1 9 3 7

пр11
пр14 пр10
прод
П 9-2001

83.3(2Рос=Рус)1
К 75

Къыйметли фонд

Редк.
О.Э.

АЛУПКИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДВОРЕЦ-МУЗЕЙ

С. Д. КОЦЮБИНСКИЙ
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК АЛУПКИНСКОГО МУЗЕЯ

ПУШКИН В КРЫМУ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Я. П. БИРЗГАЛА

8822

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО КРЫМ. АССР
1 9 3 7

пр11-
пр14 пр10
пр9
П.9-2001

Техредактор *А. Бондаренко.*
Корректор *В. Терабилло.*

ОТ АВТОРА

10 февраля 1937 года исполнилось сто лет со дня смерти А. С. Пушкина. Этот юбилей—огромной важности событие для советской страны, а вместе с тем и для всего культурного мира. Величайший русский поэт, создатель русского литературного языка и родоначальник новой русской литературы, обогативший мировую культуру драгоценными памятниками слова, он оставил нам непревзойденные сокровища искусства. Национальный русский поэт Пушкин близок и дорог всем народам Советского союза.

Столетие со дня смерти Пушкина превращается в грандиозное торжество культуры и искусства страны победившего социализма. Имя Пушкина для нас символ всего лучшего, что оставила нам культура прошлого—синтез того длительного развития, которое она прошла на протяжении многих столетий. Пушкина знают и любят в нашей стране все живущие в ней—от холодных берегов Ледовитого океана до солнечного Закавказья, от белорусских границ до Охотского моря.

Особенное значение имеет Пушкин для Крымской социалистической республики. Народы Крыма с большой любовью хранят в своей памяти тот замечательный факт, что Пушкин в годы своей молодости жил и путешествовал в Крыму и надолго потом оставил в своем сердце воспоминание о местах, где он провел „счастливейшие минуты своей жизни". В пушкинских произведениях, в его поэме, в его стихах, в его письмах Крым живет солнечной лучезарной страной—„волшебным краем", „очей отрадой". Через всю жизнь поэта прекрасной мечтой прошла Таврида—страна, „где роскошью природы оживлены дубровы и луга".

Пушкин недолго был в Крыму, но его непродолжительное пребывание в нем сыграло важную роль в его жизни и творчестве. Конечно, не прав первый биограф Пушкина

Анненков, категорически утверждающий, что „до появления Пушкина в Крыму страницы его тетрадей белы и представляют мало пищи изыскателю", что „с Крыма открывается эта длинная повесть внутреннего хода его мысли". Пушкиным еще до пребывания в Крыму созданы уже такие крупные литературные произведения, как, например, „Руслан и Людмила", ода „Вольность" и др., которые поставили его в первые ряды наших поэтов. Но все же должны мы отметить, что со времени пребывания поэта в Крыму его творчество приобретает новый, невиданный до того характер глубины и яркости. С этого именно времени Пушкин становится тем Пушкиным, который, по праву, занимает свое место в мировом пантеоне рядом с Гомером, Данте, Шекспиром, Гёте. Естественно поэтому, что крымский период жизни поэта является исключительно важной страницей его биографии.

Этот период неоднократно становился предметом изучения историков литературы. Вопросу пребывания в Крыму Пушкина и отражения Крыма в его творчестве посвящена целая область в пушкиноведении. Много сделано, чтобы восстановить точную и полную картину путешествия поэта и определить то значение, которое это путешествие для него сыграло. Труды П. Бартенева, А. Маркевича, А. Бертье-Делагарда, Б. Л. Недзельского, работа В. Я. Брюсова, статьи В. А. Мануйлова, Н. Свирина и др. являются важными этапами на пути дальнейшего изучения вопроса.

Однако при относительном богатстве литературы нужно отметить, что, занимаясь отдельными конкретными деталями крымского периода в жизни Пушкина и, зачастую, преувеличивая роль этих деталей, исследователи не дали до сих пор популярного изложения темы, изложения, которое, будучи иллюстрировано и снабжено текстами Пушкина, могло бы в простой общедоступной форме помочь читателю познакомиться с этим важным периодом жизни поэта.

Предлагаемый очерк не претендует на восполнение пробела полностью. Цель его—еще больше заинтересовать читателя крымским периодом жизни великого поэта, еще более близким и дорогим сделать его для читателя.

I

ССЫЛКА НА ЮГ

Пушкин попал в Крым в связи с административной ссылкой, которой подвергло его правительство Александра I.

По выходе в 1817 году из лицея поэту с первых же дней пришлось столкнуться с обстановкой грубого деспотизма аракчеевщины, столь сильно ощутимой в Петербурге и особенно для молодого Пушкина, вошедшего в круг тех вольнолюбивых настроений, которыми была заражена лучшая часть дворянства. Многие представители этого круга только что побывали во Франции и приобщились там к еще не выветрившимся идеям Великой буржуазно-демократической революции.

Живой и впечатлительный восемнадцатилетний поэт, воспитанный в лицее в духе либерального скептицизма, с головой окунулся в раскаленную атмосферу формирующихся идей будущего декабризма. Окружающая жизнь давала богатый материал для усиления зарождающейся оппозиции. „Дней александровых прекрасное начало“ отошло в вечность. С заключением в 1815 г. Священного союза—этого союза государей против их народов—Александр I круто изменил курс политики и от многообещающей, но пустой либеральной фразы перешел к совершенно откровенной реакции.

Годы 1818—1820, совпавшие с пребыванием Пушкина в Петербурге, явились временем наибольшего расцвета этой реакции. Она проявлялась всюду, в самых неожиданных и крайних формах. Увеличение налогов и введение военных поселений, разгоны университетов и обвинительные акты студентам, солдатчина и цензура, мистицизм и мракобесие, казни и репрессии, тысячи цепей, сковавших жизнь страны,

не могли конечно пройти незамеченными для лучших представителей военной и литературной молодежи. И эта молодежь начинает все более и более критически относиться к окружающей действительности.

Вначале эта оппозиция бесформенна и неопределенна. Она проявляется в узких рамках литературных кружков и потом оформляется в ряде тайных политических обществ. В 1815 году литературные новаторы объединяются в общество „Арзамас“ и борются против казенного литературно-ученого общества „Беседы любителей Российской словесности“. Возглавляемый поэтом В. А. Жуковским и будущим декабристом А. И. Тургеневым „Арзамас“ высмеивает в пародиях и эпиграммах ретроградных столпов „Беседы“— Шишкова, Шаховского и др. Пушкин с самого зарождения „Арзамаса“ внимательно следил за его деятельностью, а потом, будучи еще лицеистом, был принят в его члены и деятельно участвовал в литературной борьбе.

В 1818 году „Арзамас“ распался. Преемником его стало другое вольное петербургское общество, организованное в 1819 году под именем „Зеленой Лампы“ и являющееся литературным филиалом „Союза Благоденствия“.

Веселый и жизнерадостный поэт принимал деятельное участие в шумных ужинах „Зеленой Лампы“, читал на них свои политические стихи и надолго сохранил потом воспоминания о дружеских встречах в доме Всеволожского, на квартире которого собирались зеленоламповцы.

Пушкин посвятил „Зеленой Лампе“ ряд стихотворений. Он в некоторой степени отразил ее политический характер в незаконченном „Послании к „Зеленой Лампе“.

Вскоре по выходе из лицея Пушкин пишет свою знаменитую оду „Вольность“, в которой мы читаем такие пламенные строки о крепостном строе:

Увы, куда ни брошу взор—
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная власть...

Приуроченная к событию 11 марта 1801 года (дворцовый переворот и убийство Павла I) ода переросла рамки первоначального замысла и превратилась в гневное обличение александровского самовластья. В темпераментной строфе оды видна была прямая угроза Александру I:

Самовластительный злодей,
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты—ужас мира, стыд природы,
Упрек ты богу на земле.

С оды „Вольность" начинается широкая популярность Пушкина среди революционно-настроенной молодежи. Популярность эта достигает апогея, когда Пушкин разражается целым рядом ослепительных эпиграмм, направленных на „стоящих у трона".

Из-под пера Пушкина выходит уничтожающая характеристика ближайшего друга Александра I, министра духовных дел, президента библейского общества Голицына:

Вот Хвостовой покровитель,
Вот холопская душа,
Просвещения губитель,
Покровитель Бантыша...
Напирайте, бога ради,
На него со всех сторон.
Не попробовать ли сзади?
Там всего слабее он.

Всесильный владыка изувер Фотий заклеймен карающей рукой молодого поэта:

Полу-фанатик, полу-плут,
Ему орудием духовным
Проклятье, меч, и крест, и кнут.
Пошли нам, господи, греховным
Поменьше пастырей таких,—
Полу-благих, полу-святых.

Эти и другие эпиграммы, ода „Вольность" наряду с другими произведениями Пушкина, как „Деревня", „Ноэль", получили самое широкое распространение в тогдашнем обществе,—их переписывали, заучивали наизусть, переделывали на свой вкус и лад. Лицейский приятель Пушкина

И. И. Пущин в своих „Записках“ прямо пишет, что „не было живого человека, который не знал бы его стихов.“ Целый ряд непушкинских произведений из расцветшего в это время эпиграммного жанра приписывались Пушкину и под его именем циркулировали повсюду, проникая даже в казармы солдат и производя там огромный эффект. Пушкин стал знаменем всех вольнолюбивых настроений этой эпохи. Другой его друг—П. А. Вяземский говорит, что „хотя Пушкин и не принадлежал к заговору, который приятели таили от него, но он жил и раскалялся в этой жгучей и вулканической атмосфере“.

В полууничтоженной поэтом так называемой десятой главе „Евгения Онегина“ сам Пушкин вспоминает о своем участии в средах будущих декабристов:

Друг Марса, Вакха и Венеры
Тут Лунин дерзко предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал,
Читал свои поэли Пушкин.

Слухи о политической популярности Пушкина скоро дошли до правительства. Над поэтом начала нависать гроза. Однажды Александр I при свидании с бывшим директором лицея Энгельгардтом заявил ему: „Пушкина надо сослать в Сибирь. Он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодежь наизусть их читает“.

Два события, происшедшие в это время на Западе, еще больше усилили подозрительность полиции к Пушкину.

23 марта 1819 года студент Занд убил в Мангейме русского шпиона и реакционера Коцебу. Пушкин всенародно высказывал громкое одобрение вольнолюбивому студенту.

13 февраля 1820 года французский сапожник Пьер Лувель, желая искоренить „врагов народа“—Бурбонов, заколол претендента на французский престол—герцога Берийского. Пушкин с восторгом встретил это известие. Рассказывают, что на одном из представлений в театре Пушкин показывал своим знакомым портрет Лувеля, на котором была сделана надпись: „Урок царям“.

Но самым главным поводом к обвинению Пушкина явилась его эпиграмма на Аракчеева.

В этой эпиграмме поэт навеки заклеймил царского сатрапа и фактического руководителя реакции:

Всей России притеснитель,
Губернаторов мучитель
И совета он учитель,
А царю он—друг и брат.
Полон злобы, полон мести,
Без ума, без чувств, без чести,
Кто ж он „преданный без лести"?..
. . . . . грошевой солдат.

Этой пощечины ни Аракчеев, ни Александр снести не смогли. Император пришел в страшную ярость, грозил Пушкину Соловками, Сибирью и чуть ли не смертной казнью. Только заступничество друзей поэта удержало правительство от этих крайних мер.

Узнав о грозящей Пушкину беде, друзья принялись деятельно хлопотать за него. „Над здешним поэтом Пушкиным,—писал Карамзин Дмитриеву,—если не туча, то облако и громоносное: служа под знаменами либералистов, он написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей и пр. Это узнала полиция... Хотя я уже давно, истощив все способы образумить эту беспутную голову, предал несчастного Року и Немезиде, однако, из жалости к таланту замолвил слово..."

Чтобы спасти Пушкина или хотя бы облегчить его участь, были мобилизованы все силы. Чаадаев просил за него своего начальника князя Васильчикова, Гнедич со слезами на глазах умолял Оленина спасти поэта, прежний пушкинский ментор Энгельгардт ходил к царю, деятельное участие в заботах принял Ф. Н. Глинка. Особенно много хлопот выпало на долю Жуковского, имевшего возможность бывать у Александра.

Заботы друзей в значительной мере ослабили удар. После неудавшегося обыска Пушкин был вызван в кабинет петербургского генерал-губернатора графа М. А. Милорадовича для дачи объяснений. Пушкин на память написал и признал своими те стихотворения, которые ставились ему в вину.

5 мая 1820 года Александр санкционировал ссылку поэта на юг России, которая была оформлена как прикомандиро-

вание А. С. Пушкина к „канцелярии комитета об иностранных поселенцах южного края России".

На другой день, 6 мая, Пушкин выехал на перекладных в Новороссию в г. Екатеринослав. Путь был далек и безотраден. Позади оставался шумливый Петербург, общество, театр, друзья, поэзия, впереди маячила российская глухомань, тряская дорога, невзрачные провинциальные городишки, скука, безлюдье, неизвестное, ничего доброго не сулящее будущее. Началась ссылка.

II

РАЕВСКИЕ. ПУТЕШЕСТВИЕ. КАВКАЗ

Началась ссылка. Это ее имел ввиду Пушкин, вспоминая позднее:

В неволе, в бедности, в степях
Мои растраченные годы...

Но в начале этого унылого периода судьба послала поэту несколько прекраснейших недель, „счастливейших дней жизни", как говорил он брату. Это была радостная и солнечная поездка на Кавказ и Крым.

По приезде в Екатеринослав, а туда Пушкин прибыл дней через десять после выезда из Петербурга, он, искупавшись в Днепре, схватил лихорадку и слег в постель. Брошенный на произвол судьбы, без друзей, без знакомых, без помощи, великий поэт остался совершенно один в тяжелом полубредовом состоянии, забытый и никому не нужный. Больше недели Пушкин пролежал в постели, борясь с изнурительной болезнью. И вдруг пришла неожиданная помощь.

Из Петербурга на далекий Кавказ ехало семейство Раевских. Путь их лежал через Новороссийские степи, мимо Днепра, через город Екатеринослав. Они-то, Раевские, и разыскали в городе ссыльного поэта. „Генерал Раевский, который ехал на Кавказ с сыном и двумя дочерьми, нашел меня в жидовской хате, в бреду, без лекаря, за кружкою оледенелого лимонада",—пишет сам Пушкин в письме к брату Льву. Доктор Е. П. Рудыковский, сопровождавший Раевских, рассказывает то же, что Пушкина они обнаружили в гадкой избенке небритого, бледного и худого, но пишущего стихи. Раевский выхлопотал для Пушкина у его начальника Инзова продолжительный отпуск и, наскоро собрав поэта, взял его с собой в свое дальнейшее путешествие на Кавказ и в Крым.

Была ли эта встреча счастливой случайностью или же о ней уславливались заранее? На этот любопытный вопрос литературоведение ответило лишь спустя 90 лет. А. Л. Бертье-Делагард в своей статье „Память о Пушкине в Гурзуфе", подробно исследовав вопрос, доказал, что встреча Раевских с Пушкиным отнюдь не явилась неожиданной ни для них, ни для него. Поэт был знаком с Раевскими еще в Петербурге, посетил их перед своим отъездом в изгнание и условился о встрече в Екатеринославе. Раевский уже тогда принял близкое участие в судьбе Пушкина и с радостью согласился ему помочь.

Николай Николаевич Раевский (старший) принадлежал к той категории военных, служак александровской эпохи, которые далеко не полностью разделяли взгляды правительствующих кругов. Умный и дальновидный человек, он склонен был вместе с многими своими молодыми сослуживцами скептически относиться к александровскому режиму и помышлять о более свободных рамках английской конституции. Отличившись в битве при Бородино, в которой он сражался в первых рядах вместе с обоими своими сыновьями, Н. Н. Раевский надолго стяжал себе славу героя Отечественной войны и долго изображался на лубочных картинах в самых театральных позах, о чем сам вспоминал всегда с иронической улыбкой. „Я не видал в нем героя, славу русского оружия,—говорил Пушкин,—я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасною душою, снисходительного попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина". Сыновья Раевского—Александр и Николай—тоже военные и тоже „свободомыслящие", отличались, как и отец, умом, радушием и гостеприимством. Во время путешествия Пушкин сблизился с обоими и высказывал им, особенно старшему брату Александру, глубокую привязанность и уважение. Александра Раевского, причастность которого к декабристам для Пушкина вряд ли оставалась совершенно неизвестной, Пушкин считал даже человеком, „которому предназначено, может быть, управлять ходом весьма важных событий". Позднее, еще более сойдясь с А. Н. Раевским в Одессе, Пушкин изобразил его в своем стихотворении „Демон".

Другой брат, Николай, познакомился с Пушкиным в быт-

ность того учеником лицея в 1816—17 гг. на квартире Чаадаева. Пушкин ценил в Николае Раевском его начитанность в европейской литературе и считал себя обязанным ему за какие-то „важные и незабвенные услуги". Ему, между прочим, посвятил Пушкин свою поэму „Кавказский пленник", написанную во время совместного их пребывания в Крыму.

Большим расположением Пушкина пользовались также и дочери Раевского. Их было у него четыре—старшая Екатерина, вышедшая потом замуж за декабриста М. Ф. Орлова, вторая—Елена, из-за болезни которой, собственно, и состоялась поездка, самая младшая Софья и, наконец, самая интересная и красивая—Мария, вышедшая впоследствии замуж за декабриста Волконского, последовавшая за ним на каторгу и увековеченная Н. А. Некрасовым в его знаменитой поэме „Декабристки" („Русские женщины").

В тот момент, когда Раевский приехал в Екатеринослав, с ним был младший сын Николай и дочери Мария и Софья, Екатерина же и Елена, а также и их мать, находились уже в Гурзуфе, где ожидали остальных членов семьи. Александр Раевский в это время был на Кавказе.

Из Екатеринослава путешественники выехали 26 (или 27) мая. Путь лежал через Область войска донского и Ставрополье к Кавказским минеральным водам. Ехали в двух каретах и коляске, с компаньонками и гувернантками, с запасом провизии и вина, на всякий случай—с огнестрельным оружием, т. е. ехали так, как ездили сто с лишним лет тому назад все знатные путешественники по необъятным просторам пустынного в то время юга России. Погода была хорошая; свежий воздух, радостная встреча и новые впечатления скоро излечили Пушкина. „Я лег в коляску больной, через неделю вылечился". Бритоголовый, в молдаванской феске и в каком-то несусветном татарском армяке Пушкин беспрестанно шалил, смешил спутников и чувствовал себя как дома.

На Дону обедали у атамана Денисова. Пушкин, поев мороженого, снова прихворнул. Впрочем крепкая натура победила и на этот раз. 4 июня веселые и довольные путешественники прибыли в Пятигорск, где ожидал их старший сын Раевского.

На Кавказе Пушкин прожил с Раевскими около двух месяцев. Минеральные воды только еще начинали входить в моду у русской публики и находились в неустроенном состоянии. За неимением другого помещения Раевские жили в „калмыцких кибитках". Пушкин с восторгом рассказывал потом о ваннах и наскоро сколоченных лачужках, о первобытном виде источников, дымившихся и стекавших с гор по разным направлениям, о крутых каменных тропинках, кустарниках и неогороженных пропастях, над которыми он карабкался. Кипучую воду черпали ковшиком из коры или прямо донышком разбитой бутылки. Часто всем обществом уезжали на Бештау пить железные воды, а по вечерам Пушкин вместе с Александром Раевским сиживал на берегах Подкумка, наслаждаясь видом гор.

„Два месяца прожил я на Кавказе; воды мне были очень нужны и чрезвычайно помогли, особенно серные горячие. Впрочем купался я в теплых кисло-серных, в железных и в кислых холодных" (письмо к брату 24/IX 1820).

И все-таки, как это ни странно, несмотря на богатство и разнообразие впечатлений, Кавказ почти не нашел своего отражения в поэзии Пушкина. Один лишь „Кавказский пленник" является значительным плодом пребывания Пушкина на Минеральных водах. Все остальное, что подарила пушкинская муза Кавказу, родилось спустя 9 лет, во время второго путешествия поэта на Кавказ.

5 августа Раевские с Пушкиным покинули Пятигорск и через землю черноморских казаков направились к Тамани. Ехали по Кубани о бок с воинственными и еще не покоренными Россией племенами черкесов. Маленькие казачьи крепости Ладожская, Усть-Лабинская, Екатеринодар были наполнены свежими воспоминаниями об их стремительных набегах. Большую часть дороги путешественников сопровождал конвой с заряженной пушкой, и Пушкина радовала военная обстановка. Впечатления, вынесенные из этого переезда, дали обильный материал для его поэмы „Кавказский пленник", писанием которой занялся он на досуге в Гурзуфе.

По низовьям Кубани, по плавням добрались, наконец, до Тамани. Буря задержала переправу через Керченский пролив, и в Тамани—„самом скверном из всех приморских

городов России" (Лермонтов)—путешественникам пришлось пережидать два дня. На третий день море успокоилось, и можно было перебраться в Керчь.

„С полуострова Таманя, древнего Тмутараканского княжества, открылись мне берега Крыма," — пишет Пушкин в письме к брату.

Это было 15 августа 1820 года. В этот день Пушкин вступил на почву полуденной Тавриды. Перед ним лежал Крым.

III

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ В КРЫМУ

15 августа 1820 года Пушкин вступил на почву полуденной Тавриды.

Перед ним лежала „страна важная и запущенная". Так отрекомендовал Крым своему брату Пушкин. В одной фразе Пушкину удалось сказать то, чего не сумели рассказать в своих многочисленных записках десятки тогдашних путешественников по Крыму.

Крым, который видел Пушкин, был поистине страной важной и запущенной.

Прошло всего лишь тридцать семь лет со дня покорения Крыма Екатериной—время, меньшее одной человеческой жизни, но в эти тридцать семь лет Крым пережил очень многое.

В 1783 году после длительной русско-турецкой войны и предварительной оккупации вся территория Крымского полуострова была объявлена частью Российской империи. Привлекаемые богатствами покоренной страны двинулись в Крым новые хозяева. В 1787 году совершилось триумфальное победное путешествие императрицы в новоприобретенный край. Австрийский император и французские дипломаты, фавориты и фаворитки, бесчисленные вельможи и придворные ехали вместе с императрицей в многочисленной свите, чтобы взглянуть на „важную" страну. А страна была действительно важная. „Присоединением сего полуострова,—сообщал Екатерине Потемкин,—доходы наши приумножатся и возвысятся. Одна соль уже главный артикул, что же касается хлеба, да вина!.." Путешествие было веселым и полезным. Недаром императрица приказала на памятной медали выбить многозначительные слова: „Путь на пользу". Те, кто были в свите, не были обмануты. Путь для них оказался на великую пользу.

За одно десятилетие, с 1783 по 1794 г., в Крыму было роздано русским помещикам более 380 000 десятин земли. Один только Потемкин получил свыше 120 000 десятин, всю Байдарскую долину, Попов получил более 50 тысяч десятин, Скавронский—12 с лишним тысяч десятин. Даже лакеи императрицы не были забыты. Горничная и сводня Екатерины Перекусихина стала владелицей 1500 десятин в Крыму, камердинеры Зотов и Козлов получили 1500 и 2000 десятин. Не были забыты Екатериной и татарские помещики—Ширинские и другие.

Любопытно, что в своем „Table-talk'e" Пушкин сам приводит рассказ о способах этой колонизации. Рассказ этот услышан поэтом в 30-х годах от Н. К. Загряжской и записан Пушкиным так: „Потемкин, сидя у меня, сказал мне однажды: „Наталья Кирилловна, хочешь ты земли?" „Какие земли?" „У меня там есть в Крыму". „Зачем мне брать у тебя земли, с какой стати?" „Разумеется, государыня подарит, а я только ей скажу". „Сделай одолжение". Я поговорила об этом с Тепловым, который мне сказал: „Спросите у князя планы, а я вам выберу земли". Так и сделалось. Проходит год, мне приносят 80 рублей. „Откуда, батюшки?" „С ваших новых земель—там ходят стада и за это вот вам деньги". Проходит еще год, другой. Теплов говорит мне: „Что же вы не думаете о заселении ваших земель? Десять лет пройдут, так худо будет, вы заплатите большой штраф". „Да что же мне делать?" „Напишите вашему батюшке письмо, он не откажет вам дать крестьян на заселение". Я так и сделала, батюшка пожаловал мне 300 душ. Я их и поселила; на другой год они все разбежались, не знаю отчего. В это время Кочубей сватался за Машу. Я ему и сказала: „Кочубей, возьми, пожалуйста, мои крымские земли, мне с ними только что хлопоты". Что же? Эти земли давали после Кочубею 50 000 рублей доходу. Я очень была рада".

В тот самый день, когда многие дворяне в результате „щедрости" императрицы проснулись крымскими помещиками, многие тысячи крымских татар проснулись нищими. Татарское крестьянство очутилось перед лицом совершившегося факта—массового обезземеливания. Новый гнет превысил все, что было до сих пор самого тяжелого для

8820

татарского крестьянина. В результате экспроприации земли и усиления эксплоатации со стороны новых хозяев начался стихийный безудержный процесс эмиграции крестьян в Турцию. Родину покидали сотнями и тысячами ежедневно. Целые деревни снимались с насиженных мест и устремлялись за море, оставляя после себя безмолвные сакли и немые пепелища. Русское правительство эмиграции не препятствовало. Напротив, оно всячески приветствовало освобождение Крыма от местного коренного населения. Крымский судья Сумароков в своих известных записках прямо говорил о желательности изгнания татар из Крыма.

Крым почти опустел. По некоторым данным 300 с лишним тысяч человек выбыло из его пределов навсегда. Это составило почти 75% всего крымского населения.

В начале XIX века Южный берег оказался почти совсем пустынным. На всем протяжении от Балаклавы до Алушты жителей осталось всего только несколько сот человек. В Гурзуфе было два-три десятка обитаемых домов. Ялта почти совсем опустела—пятнадцать дворов, да и то населенные солдатами карательного баталиона. От Алупки осталось не больше, а за почти совсем опустошенным Симеизом только изредка виднелись кое-где людские жилища.

Постепенно, с первых лет 800-х годов начинают на Южном берегу возникать первые русские помещичьи усадьбы и виноградники. В 1805 году в Кучук-Ламбате выстраивает себе дом и поселяется в нем генерал-губернатор Бороздин, в 1808 году в Гурзуфе, в том самом Гурзуфе, куда едет Пушкин, обосновывается другой генерал-губернатор герцог Ришелье.

Первое знакомство поэта с Крымом началось в Керчи. В то время Керчь была совсем небольшим городком—наполовину торговым складом, наполовину военной крепостью. Собственно город представлял собой единственную улицу, длинную и жалкую, начинавшуюся у двух древних полуразрушенных башен. Писатель Гераков, бывший в Керчи за несколько дней до приезда туда Раевских, определяет количество жителей в городе в 4 тысячи человек—большинство из них были неимущие бедняки, зарабатывавшие себе хлеб рыбной ловлей да соляными промыслами. Другой писатель, Сумароков, отмечает в Керчи большое количество

Вид г. Керчи.

Старинная литография худ. Д. Кленова.

торговцев, державших свои многочисленные лавочки по сторонам главной улицы.

Маленькая, неинтересная Керчь была, однако, любопытна Пушкину давно, и он с нетерпением ждал прибытия туда. Керчь привлекала поэта своим историческим прошлым. „Здесь увижу я развалины Митридатова гроба, здесь увижу я следы Пантикапеи".

Некогда столица Босфорского царства, древняя Пантикапея, прославившаяся особенно борьбой царя Митридата с Римом, в числе других замечательных памятников Крыма навевала Пушкину воспоминания о знакомых событиях и лицах. Вообще Крым воспринимался тогда путешественниками, главным образом, в свете классической истории. И Сумароков и Бобров, и Измайлов, и Муравьев-Апостол усматривали „в чертах Тавриды далекой Греции черты". Миф об аргонавтах, одиссеев миф, Киммерия, Ифигения, Орест и Пилад, смерть Митридата—таков был круг ассоциаций, всплывавших в воображении тогдашнего общества при одном упоминании о Крыме. В этом отношении более других образованный и начитанный Пушкин не составлял исключения. В своих замечательных строфах, включенных в „Путешествие Онегина", Пушкин прежде всего вспоминает эту сторону крымского облика:

Воображенью край священный,
С Атридом спорил там Пилад,
Там закололся Митридат...

Первым своим долгом по прибытии в Крым Пушкин счел посещение гробницы Митридата.

Однако ожидания себя не оправдали. „На ближайшей горе посреди кладбища увидел я груду камней, утесов, грубо высеченных, заметил несколько ступеней, дело рук человеческих. Гроб ли это, древнее основание башни—не знаю. Там сорвал я цветок для памяти и на другой день потерял его, без всякого сожаления. Развалины Пантикапеи не сильнее подействовали на мое воображение. Я видел следы улиц, полузаросший ров, старые кирпичи и только".

И все-таки Пушкину не хотелось отказаться от Пантикапеи целиком. Если Керчь не давала повода для поэтического вдохновения, то любознательность Пушкина от этого не уменьшилась. Как раз в это время в Керчь прибыл

Вид г. Феодосии.

Старинная литография худ. Д. Кленова.

археолог Дюбрюкс—организатор ныне существующего в Керчи музея. В связи с его приездом интерес к древностям пробудился отчасти и у местной интеллигенции. Пушкин расспрашивал подробно о начавшихся раскопках и констатировал с горечью, что условия для них созданы самые неблагоприятные. „Нет сомнения,—писал он брату,—что много драгоценного скрывается под землей, насыпанной веками: какой-то француз прислан из Петербурга для разысканий, но ему недостает ни денег, ни сведений, как у нас обыкновенно водится".

Утром 16 (или 17) августа Пушкин вместе с своими спутниками выехал в Феодосию.

В Феодосии была назначена дневка. Там путники были приняты С. М. Броневским, военным в отставке, который жил в своей даче в двух километрах от города.

Старый знакомый генерала Раевского, Броневский был интересной личностью своего времени. Человек достаточно образованный, побывавший за границей и научившийся там нескольким языкам, Броневский сходился с Раевским во взглядах на несовершенство правительства, высказывал свой протест против истязаний крепостных и за не совсем известные нам „преступления по службе" был отстранен от должности и отдан под суд.

О своем пребывании в Феодосии и знакомстве с Броневским Пушкин сообщает в письме к брату. „Из Керчи приехали мы в Кефу, остановились у Броневского, человека почтенного по непорочной службе и по бедности. Теперь он под судом и, подобно старику Вергилию, разводит сад на берегу моря, недалеко от города. Виноград и миндаль составляют его доход. Он не ученый человек, но имеет большие сведения о Крыме, стороне важной и запущенной".

К сожалению, Броневский, один из первых крымоведов, не оставил никаких трудов об этой стране. Зато он является автором двухтомной книги о Кавказе, книги, экземпляр которой имелся и у заинтересовавшегося Броневским Пушкина.

Естественно предположить, что главной темой разговоров, которые вели со своим хозяином гости, был Кавказ, откуда они только что приехали, и Крым.

Вид г. Феодосии.

Картина худ. Н. Чернецова.

IV

ГУРЗУФ

„Из Феодосии до самого Гурзуфа ехал я морем. Всю ночь не спал. Луны не было, звезды блистали; передо мною, в тумане, тянулись полуденные горы...

— Вот Чатырдаг,—сказал мне капитан. Я не различил его, да и не любопытствовал. Перед светом я заснул".

Так описывает свой переезд из Феодосии до Гурзуфа сам Пушкин.

Нет ничего удивительного, что после великолепных картин Кавказского хребта ни судакские горы, вообще говоря очень красивые, ни Чатырдаг, столь понравившийся другому большому поэту—Мицкевичу, Пушкина не тронули.

Но море, волнующееся и волнующее ночное море, всколыхнуло в поэте его душу. „Ночью на корабле написал я элегию",—сообщал Пушкин своему другу.

Эта элегия, написанная на корабле где-то между Судаком и Алуштой, остается одним из лучших поэтических произведений, навеянных Крымом:

Погасло дневное светило,
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной угрюмый океан.
Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края;
С волненьем и тоской туда стремлюся я,
Воспоминаньем упоенный...

В этой элегии, в последующих строфах Пушкин передал с предельной красотой глубокое и сложное чувство, которое волновало его, гонимого странника, при виде новых берегов.

„Между тем корабль остановился в виду Юрзуфа. Проснувшись увидел я картину пленительную: разноцветные

Развалины древней крепости в Гурзуфе.

Старинная литография худ. Бигатти.

горы сияли; плоские кровли хижин татарских издали казались ульями, прилепленными к горам, тополи, как зеленые колонны, стройно возвышались между ними; справа огромный Аю-Даг... и кругом это синее чистое небо, и светлое море, и блеск, и воздух полуденный...“

Утренний, озаренный солнцем Гурзуф от лица собственно Южного берега счастливо встретил поэта. Первое впечатление было настолько сильным, что спустя целых десять лет Пушкин передал его в стихах во всей его свежести и полноте:

Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля
При блеске утренней Киприды,
Как вас впервой увидел я;
Вы мне предстали в блеске брачном:
На небе синем и прозрачном
Синели груды ваших гор;
Долин, деревьев, сел узор
Разостлан был передо мною...

Сто пятнадцать лет тому назад, к моменту приезда Пушкина в Крым, Гурзуф представлял собой маленькую татарскую деревушку, расположенную амфитеатром в долине, спускающейся от отрогов Яйлы к морю. Узенькие улочки между рядами глиняных саклей прихотливо извивались, теряясь в небольших, но тенистых, плодовых садах, разноцветные пятна виноградников, разбросанных кое-где над самой деревней, усиливали живописность картины, а строгий профиль Аю-Дага, возвышающегося над заливом с востока, придавал этой картине торжественный и величественный характер. Деревня была населена негусто, поэтому некоторый оттенок запустения царил не только на развалинах крепости, поросшей диким виноградом, но и на улицах самого селения. П. Сумароков, бывший в Гурзуфе в 1803 г., со свойственным ему лирическим восторгом пишет, что „ни восходь, ни захождение солнца не выпускают в него раскаленных лучей, и единые хребты тех гор, лишь нежно освещенные, доставляют Гурзуфу вечную прохладу, при приятном уединении. В Гурзуфе довольно садов, изобилующих красными, белыми фигами, равно другими плодами, в лесу же растут за исключением других, масличные, перцовые, дикого кипариса и маслиновые деревья“.

Вид Гурзуфа.

Старинная литография худ. Кюгельхена.

Окрестности Гурзуфа чрезвычайно интересны в историческом отношении. Земля повсюду насыщена здесь следами прошлых народов, останками прежних культур. Древние сооружения тавров у западного склона Аю-Дага чередуются с мощными стенами средневековых укреплений. В размывах почвы обнажаются иногда готские могильники. Развалины византийских часовен хранятся еще в зарослях, покрывающих горы. А в самом Гурзуфе на обрывах скалы над бухтой лепятся башни генуэзского укрепления. Некогда здесь был город Гурзувиты, к гавани которого стремились триремы греческих купцов и бригантины итальянских конквистадоров. Арабский географ Ибн-Эдризи уже в XII веке упоминал о Гурзуфе, как о цветущем приморском городе. В XV веке к гурзуфской гавани занесло русского купца Афанасия Никитина; в своем „Хождении за три моря" он тоже помянул этот город. В XV веке Гурзуфом завладели турки. На старом татарском кладбище Пушкин мог видеть надгробия, восходящие к XVII и даже XVI веку.

К моменту приезда Пушкина в одном из самых больших гурзуфских садов стоял уже, выделяясь на фоне бедных татарских хибарок, обширный двухэтажный дом своеобразной архитектуры. В этом доме и предстояло прожить поэту почти три недели „счастливейшие минуты" его жизни.

Как уже указано, это была усадьба герцога Ришелье — одно из первых русских поместий на Южном берегу Крыма.

Основанию имению и постройке дома положено было начало в 1808 году, вскоре после того, как Ришелье, генерал-губернатор Новороссийского края, вступил в управление также и Крымским полуостровом. Посетив в этом году Южный берег, Ришелье приобрел в Гурзуфе участок земли, с довольно обширным садом и старой татарской постройкой, принадлежавшими до того какому-то богатому татарину. Спустя несколько месяцев после этой покупки, Ришелье объезжал край и во время остановки в Гурзуфе торжественно заложил в нем дом. По словам адъютанта Ришелье, графа Рошешуара, план дома составлен был искусным архитектором в Одессе в греческом стиле. Постройка шла медленно, хотя наблюдать за ней и приезжали то сам Ришелье, то его адъютант. В те годы в опустевшем бездорожном крае строительство такого, сравнительно

Вид Аю-Дага.

Старинная литография худ. Бигатти.

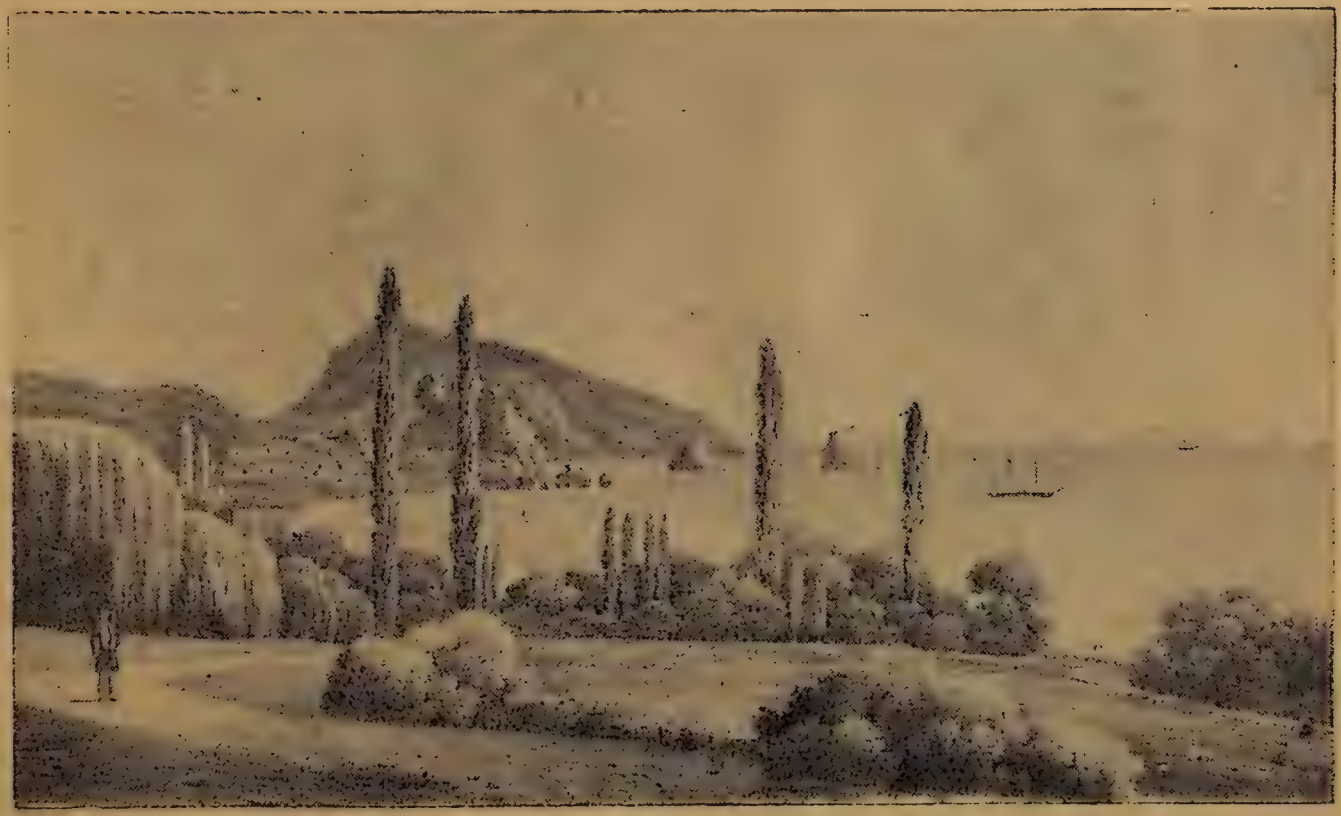
не так уж большого дома, было целым событием. Работы велись в течение более чем трех лет, так что закончено было здание лишь к осени 1811 года.

В выстроенном доме Ришелье и прожил всего только одну осень 1811 года и больше никогда туда не заглядывал. С тех пор дом пустовал круглый год, лишь летом давая, по распоряжению владельца, приют для частых в то время путешественников по Крыму. В этом доме останавливался, между прочим, Муравьев-Апостол, путешествовавший по Крыму вскоре после Пушкина.

О том, каков был дом к моменту приезда в него Пушкина, можно с большей или меньшей вероятностью судить по описаниям современников и старым гравюрам. С тех пор дом в некоторой степени изменился перестройками как извне, так и внутри, поэтому эти свидетельства представляют большой интерес [1].

Прежде всего адъютант владельца сообщает, что дом удивлял татар, показался им великолепным дворцом, подобным дворцам их бывших ханов. Нечего и говорить, что эта характеристика слишком не свободна от бахвальства. Почти в тех же тонах говорит о доме В. Б. Броневский, брат того Броневского, у которого Пушкин останавливался в Феодосии. Совсем иначе характеризует его Дюбуа де Монпере, бывший в Гурзуфе, правда, несколько позднее, но описание давший по рассказам очевидцев начала 20-х годов. „Дом, построенный герцогом,—пишет Дюбуа,—был настоящий воздушный дворец, ибо весь состоял из лестниц и галлерей, кроме двух или трех маленьких комнат, выделенных в средине здания. Видно, что владелец искал только воздуха и видов". Воздушность и претенциозность здания делала его почти совершенно непригодным к обитанию в нем. Муравьев-Апостол прямо говорит: „Замок этот доказывает, что хозяину не следует строить заочно, а может быть и то, что самый отменно хороший человек может иметь отменно дурной вкус в архитектуре. Огромное здание состоит из крылец, переходов с навесом

[1] Большое количество таких свидетельств собрано в ценном труде А. Бертье-Делагарда—„Память о Пушкине в Гурзуфе" „Пушкин и его современники" вып. XVII-XVIII. СПБ, 1913. Есть также и отдельный оттиск).



Вид окрестностеи Гурзуфа.

Старинная литография худ. Бигатти.

Пушкинский домик в Гурзуфе.

Картина работы худ. С. И. Лобанова 1936 г. Акварель.

вокруг дома, а внутри из одной галлереи, занимающей все строение, исключая четырех небольших комнат, по две на каждом конце, в которых столько окон и дверей, что нет места, где кровать поставить. В этом состоит все помещение, кроме большого кабинета над галлереею, под чердаком, в который надобно пролезть по узкой лестнице". Еще более неуютным показался дом англичанину Джонсу, который нашел дом настолько сырым и лишенным удобств, что предпочел поместиться в татарской сакле.

Условия для жизни были не из блестящих. Тем не менее 17 (или 18) августа семейство Раевских прямо с корабля переехало в этот дом и поселилось в обоих его этажах.

Пушкин вместе со своим другом Николаем Раевским (младшим) поместился в одной из комнат нижнего этажа.

Для Пушкина начался новый—замечательный период жизни, так неповторимо обогативший русскую литературу

V

ЖИЗНЬ В ГУРЗУФЕ

Пушкин об этой жизни рассказывает так:

„В Юрзуфе жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом; я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею со всем равнодушием неаполитанского лаццарони. Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря— и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое утро я навещал его, и к нему привязался чувством, похожим на дружество".

В другом письме Пушкин говорит об этой жизни так:

„В Юрзуфе прожил я три недели. Мой друг, щастливейшие минуты жизни моей провел я посереди семейства почтенного Раевского... Суди, был ли я щастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства, жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался,— щастливое полуденное небо; прелестный край; природа, удовлетворяющая воображение; горы, сады, море..."

И действительно три гурзуфских недели были для Пушкина счастливым временем. Выросший в пустой и бестолковой семье поэт никогда не знал настоящей родительской ласки и привета. Легкомысленный, ветреный отец, вспыльчивая и раздражительная мать, видевшие вершину счастья лишь в светских развлечениях, мало интересовались маленьким Пушкиным. Предоставленный самому себе или надзору чопорных гувернанток поэт рос одиноким ребенком, сиротой у собственных родителей.

Старик Раевский и его дружная семья впервые явились для Пушкина олицетворением родительского дома. Только теперь в милом и приветливом кругу своих друзей Пушкин со всей остротой почувствовал, как необходима ему такая неизведанная еще атмосфера взаимной привязанности.

Этой глубокой и чистой радости как нельзя более способствовала окружающая природа. Всегда ясное и солнечное небо, мягкие очертания гор, всюду ласковая прохлада садов и, наконец, море, спокойное и тихое море, каким оно бывает обыкновенно в августе.

Волшебный край, очей отрада.
Все живо там—холмы, леса,
Янтарь и яхонт винограда,
Долин приютная краса,
И струй, и тополей прохлада—
Все чувства путника манит,
Когда в час утра безмятежный,
В горах дорогою прибрежной
Привычный конь его бежит,
И зеленеющая влага
Пред ним и блещет и шумит
Вокруг утесов Аю-Дага...

Время для поэта протекало весело и незаметно. Оживленные беседы о литературе сменялись играми и шалостями, игры сменялись прогулками по окрестностям. Далеких экскурсий совершать было нельзя ввиду отсутствия удобных дорог, зато, конечно, всей компанией предпринимали прогулки в деревню, к развалинам крепости, а то и подальше, может быть, верхом, к подножью Аю-Дага. Часто гулял Пушкин и один. Он сам говорит об этом:

Там часто я бродил уединенный
И вдаль глядел...

и в другом стихотворении:

Там некогда в горах, сердечной думы полный
Над морем я влачил задумчивую лень.

В такие минуты Пушкина посещали рифмы.

Вообще говоря, большинство крымских стихотворений написано Пушкиным значительно позднее—пребывание в Гурзуфе не было отмечено особенной интенсивностью творческой деятельности. Однако к этому времени приурочивают такие поэтические шедевры Пушкина, как „Мне вас не жаль, года моей весны“, „Элегию“ и „Увы, зачем она блистает“...

В Гурзуфе Пушкин приступил к работе над поэмой „Кавказский пленник". Впечатления, вынесенные из поездки по Кавказу, устоялись, план поэмы оформился, и поэт начал писать.

Юношеская поэма „Кавказский пленник" открывает собой ряд произведений, отмеченных увлечением Пушкина поэзией Байрона. Первое знакомство Пушкина с творчеством английского поэта началось еще в Петербурге, где Пушкин приступил было к изучению английского языка, для чего даже брал у Чаадаева специальную литературу.

Вряд ли Пушкину удалось тогда изучить язык до степени свободного чтения. Только здесь в условиях полного отсутствия забот и житейских мелочей можно было отдаться этому в полной мере. Пушкина привлекла в этом поэте новая сила лирического выражения, мотивы свободолюбия, протест против существующего строя, гордое презрение к власти. Не в меньшей степени интересна была для Пушкина та романтическая то суровая, то экзотически чарующая природа, в обстановке которой действуют герои Байрона и яркое подобие которой видел Пушкин на Кавказе и в Крыму.

Пушкин воспользовался удобным случаем, подвернувшимся ему в виде гурзуфского отдыха, и решил усовершенствоваться в английском языке на произведениях Байрона. И в этом ему также повезло. Николай Раевский (сын) достаточно хорошо читал по-английски и вызвался Пушкину помогать. Юноши запирались у себя в комнатке и целые часы просиживали над Байроном в подлиннике. В случае же если и Раевский не понимал какого-нибудь слова, к услугам читавших была старшая Раевская—Екатерина, к которой за неимением словаря и бегали, чтобы получить необходимую справку. Как установлено, основным чтением был „Корсар", поэма, наложившая несомненный отпечаток на писавшегося одновременно с этим „Кавказского пленника". Возможно, что в Гурзуфе же Пушкин читал и „Чайлд-Гарольда"—одно из главных творений Байрона. Один из первых пушкинистов П. Бартенев считает, что Байрон был почти ежедневным чтением Пушкина.

Вообще в семье Раевских в эти дни Байрон был власти-

телем дум. Николай рассказал Пушкину, что сестра Елена втихомолку переводит что-то из Байрона на французский язык. Пушкин немедленно воспользовался этим сведением, отправился под окна комнаты, где жили девушки, и стал ходить да подбирать клочки изорванных бумажек, которые вылетали из окна. Сложив клочки и прочитав их, Пушкин поразился точности перевода и не преминул выразить свое восхищение перед их автором, за что вместе с другом и получил порядочный нагоняй и упреки в нескромности.

Своего „Кавказского пленника" Пушкин впоследствии посвятил Николаю Раевскому, может быть именно в память совместной жизни и занятий в Гурзуфе. В посвящении он говорит:

Ты здесь найдешь воспоминанья
Быть может милых сердцу дней,
Противоречия страстей,
Мечты знакомые, знакомые страданья
И тайный глас души моей.

В эти три недели, которые Пушкин прожил в Гурзуфе, сильное увлечение потрясло его сердце. Пушкин влюбился в одну из дочерей Раевских. Как и все пушкинские увлечения, эта любовь обогатила русскую поэзию прекрасными стихами. Ей мы обязаны таким произведением, как „Редеет облаков летучая гряда", о ней упоминает Пушкин в „Элегии" и „Путешествии Онегина", ею навеяны, наконец, замечательные строфы главного крымского произведения Пушкина „Бахчисарайский фонтан". Более того, вплоть до начала 30-х годов эта любовь обогащает и насыщает лирическую поэзию Пушкина.

Свою страсть к Раевской Пушкин скрывал ото всех самым тщательным образом. В посвящении к „Полтаве" он сам назвал ее „утаенной" любовью, а в черновиках „Бахчисарайского фонтана" любовью „отверженной и вечной". Именно, благодаря усиленной конспирации, любовь эта осталась неразгаданной. Известно лишь, что объектом ее являлась одна из дочерей Раевского, но которая именно— об этом можно лишь догадываться, и по-разному.

„Одной мыслию этой женщины" Пушкин дорожил „бо-

лее, чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики“ и потому даже чуть было не поссорился со своим приятелем Бестужевым, когда тот при опубликовании одного пушкинского письма, вопреки желанию Пушкина, напечатал и фразу, где говорилось о любимой поэтом женщине.

Честный и благородный в подлинной страсти Пушкин не хотел не только называть имя любимой, но даже и упоминать в печати о самой любви.

VI

ПУШКИН И КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ

В Гурзуфе Пушкин впервые столкнулся с татарами—народом, обычаи и нравы которого не могли пройти мимо его внимания и любознательности.

Пушкин среди татар в Гурзуфе.

Картина академика Н. С. Самокиша.

Как сказано выше, с завоеванием Крыма Россией татары-крестьяне попали в очень тяжелые условия. Обреченные изгнанию на чужбину, вытесненные с насиженных мест, с лучших земель, они вынуждены были обрабатывать каменистые склоны гор, тяжким трудом превращая их в плодородные сады и сносные виноградники. Ко времени приезда в Крым Пушкина это был окончательно уже покоренный народ, влачивший жалкое существование в своей порабощенной отчизне.

Пушкин не много написал о крымских татарах, но в том, что он о них написал, бедность местного населения отмечена им неоднократно.

В стихотворении „Желание“ он говорит:

Я помню гор высокие вершины,
И беглых вод веселые струи,
И тень, и шум, и красные долины,
Где бедные простых татар семьи
Среди забот и с дружбою взаимной
Под кровлею живут гостеприимной.

В другом произведении Пушкин характеризует обстановку, в которой у него проснулся „поэтический жар“ одной лишь фразой: „А там, меж хижинок татар...“ вмещая в уменьшительное „хижинок“ признак бедности и неблагополучия.

В третьем (незаконченном) стихотворении определение „бедный“ заключено в самом начале:

Недавно бедный музульман
В Юрзуфе жил с детьми, женою...

Характерно, что даже в этом пародийно-буколическом стихотворении [1] речь идет о том, что беременная жена этого бедного крестьянина просит его достать хоть крохотный кусочек каймаку, и тот отправляется за ним в „ближайшую долину“, которая отстоит на таком расстоянии, что бедный муж должен был предварительно благословить детей и поцеловать жену, а возвращался

...едва-едва шагая;
И скоро стал искать, совсем изнемогая,
Местечка, где бы отдохнуть.

Пушкин не упустил из вида и другую черту, свойственную татарам,—трудолюбие.

С легкой руки ученого Палласа путешественники по Крыму писали о татарах, как о народе ленивом и праздном[2].

---

[1] Являющемся вольной переделкой произведения французского писателя Бурдона.

[2] Кстати сказать, Паллас кроме ученых трудов о Крыме известен так же и тем, что, насильственно захватив крестьянские земли этого народа, „ленивого и праздного“, судился с ним самым недостойным и нечестным образом.

Даже А. С. Грибоедов не свободен был от этого ложного и тенденциозного мнения.

Пушкин несколько раз говорит о татарах с чувством глубокого уважения к их трудолюбию.

В стихотворении „Желание“ он пишет:

Повсюду труд, веселый и прилежный,
Сады татар и нивы золотит.
Холмы цветут и в листьях винограда
Висит янтарь...

И если Пушкин считает Крым страной, где все—„очей отрада“, то это также и потому, что прилежный труд населения украсил эту страну садами и виноградниками.

Рассказывая об упомянутом уже „б е д н о м“ гурзуфском татарине, Пушкин характеризует его так:

Махмет (так звался он) п р и л е ж н о ц е л ы й д е н ь
Смотрел за ульями, за садом
И за домашним виноградом,
Не зная, что такое лень...

К сожалению, кратковременное пребывание Пушкина в Крыму не дало ему возможности полнее отразить в своих произведениях труд и быт татарского населения. Об отношении поэта к татарам приходится судить по отдельным словам и фразам. Но мы зато должны констатировать, что Пушкин не повторял о Крыме того, что говорили о нем многие писатели, путешествовавшие по Крыму, и что стало общим местом у них.

Если эти писатели—П. Сумароков, Броневский, Бобров, Измайлов и др., упоминая о коренном населении Крыма, никогда не упускали возможности выразить своего гордого чувства торжествующих победителей, то у Пушкина мы нигде не найдем и следа того великодержавного восторга, который был свойственен этим писателям.

Пушкин нигде и ни в чем не последовал примеру П. Сумарокова и ему подобных. В своем „Бахчисарайском фонтане“—произведении, затрагивающем как раз взаимоотношения русской и татарской государственности, Пушкин ни на одну иоту не воспользовался соблазнительной как будто бы возможностью выславить славу русского оружия. Пушкин сознательно не пошел по стопам предшественников и ни одним словом не послужил этой сомнительной

славе. Того, что можно было бы назвать высокомерным отношением к побежденному народу и его истории, в „Бахчисарайском фонтане“ нет.

В этой же поэме Пушкин отдал должное уважение татарскому народу в целом, охарактеризовав несколькими штрихами его силу, энергию и военные способности.

Известный пушкинист А. Л. Бертье-Делагард в своей работе „Память о Пушкине в Гурзуфе“ пришел к унылому выводу о том, что память о поэте в Гурзуфе якобы нигде и ни в чем не сохранилась. Одним из существенных аргументов, говорящих за исчезновение пушкинской памяти, Бертье-Делагард считает факт почти полного отсутствия упоминаний о Пушкине в записках путешественников, посещавших в первой половине XIX в. Гурзуф, и в путеводителях, которые Гурзуф описывали.

Что правда, то правда. Путешественники и авторы путеводителей обошли вниманием пребывание в Гурзуфе Пушкина. Но ведь не только же у путешественников и авторов путеводителей надо было искать этой памяти. Бертье-Делагард упустил один важный источник, из которого он мог бы почерпнуть больше, чем из путевых записок и путеводителей.

Этим источником, сохранившим память о Пушкине в Гурзуфе, является фольклор, устное творчество татарского крестьянства.

Легенды о кудрявом поэте, обитавшем в Гурзуфе, стали создаваться вскоре после смерти Пушкина. Уже в 50-х годах записан был татарский рассказ о поэте и его соловье. В своих „Декабристках“ Некрасов в стихах передает эту поэтическую легенду:

...мне говорили, что Пушкина след
В туземной легенде остался.
„К поэту летал соловей по ночам,
Как в небо луна выплывала,
И вместе с поэтом он пел,—и певцам
Внимая, природа смолкала.
Потом соловей,—повествует народ,—
Летал сюда каждое лето:
И свищет, и плачет, и словно зовет
К забытому другу поэта.

Но умер поэт. Прилетать перестал
Пернатый певец. Полный горя
С тех пор кипарис сиротою стоял,
Внимая лишь ропоту моря".

Бертье-Делагард подозрительно отнесся к этой легенде и со свойственным ему гипертрофированным скептицизмом счел ее поэтическим домыслом.

Но вот совсем недавно, в 1927 году, советской писательнице Анне Караваевой удалось записать от гурзуфского старика Ибраима ряд любопытнейших преданий о жизни Пушкина в Гурзуфе. Предания эти—наивные и непосредственные—лишены исторической достоверности и в книгу „Пушкин в жизни" включены вряд ли могут быть. Но ведь нам важно сейчас подтвердить лишь то, что память о Пушкине у татар не исчезла, а в этом отношении фольклорные предания, записанные Караваевой, представляют значительный интерес.

— Деревня наша маленькая,—сказал Караваевой Ибраим,— а зато в этих местах большой человек бывал—сам Пушкин. Пушкин, понимаете?

Писательница попросила старика рассказать, что он знает о Пушкине.

Ибраим исполнил ее желание.

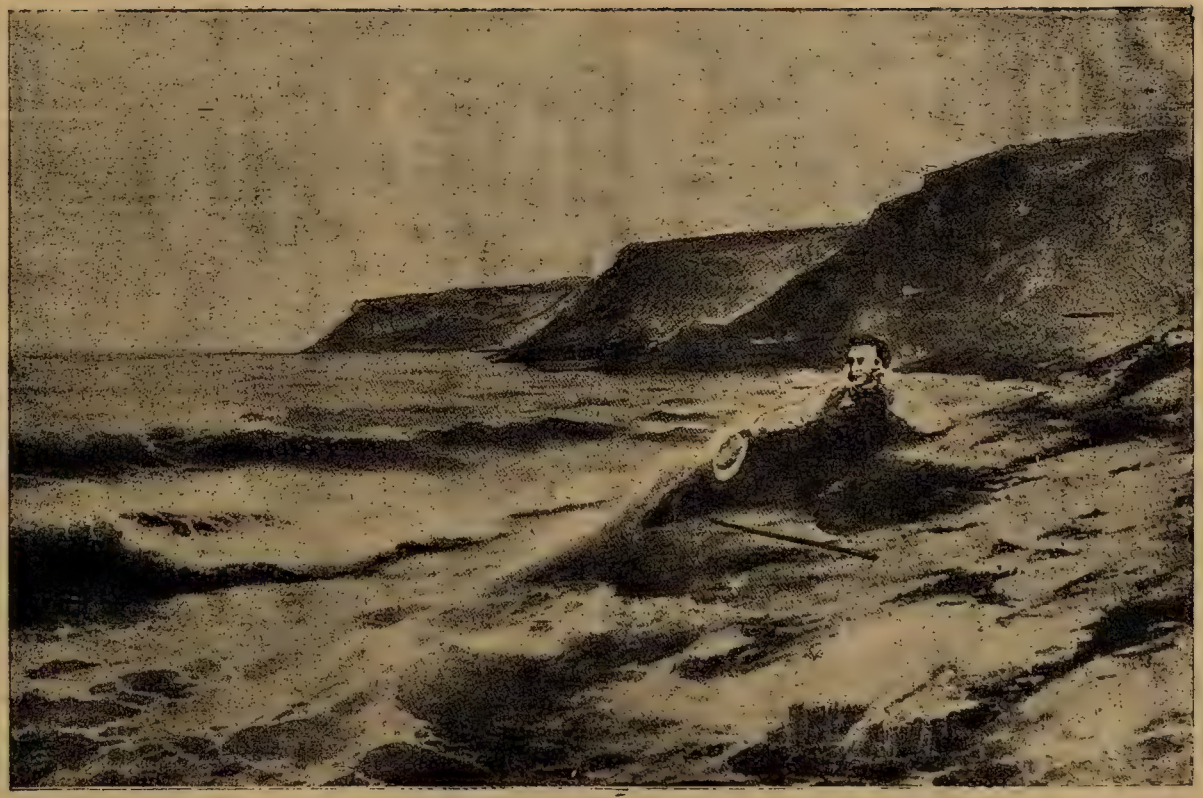
Мы приводим здесь некоторые из рассказов, записанных Караваевой.

„Пушкин ездить верхом не умел, а сам горячий, на месте стоять не хочет, все торопит, а уж что захочет—в ад беги, а достань ему. Но только он хотел—научиться ездить верхом.

Вот едут они с прадедом моим. Солнце печет. Дорога вверх все круче—ну есть ли где такие горы, как наши крымские горы? Вдруг—поворот. Кобыла вскинула задом; Пушкин и крикнуть не успел, как на земле очутился. Ушибся. Сидит на земле и ругается:

— Это ты,—говорит он моему прадеду,—это ты плохо ремни затянул, седло-то подо мной и съехало.

— Нет,—заспорил мой прадед,—ремни затянуты так хорошо, что кобыла еле может вздохнуть.



Пушкин в Крыму.

Картина художника Айвазовского.

— Врешь ты все,—сердился Пушкин.

— Ну, Пушкин, смотри сам.

Встал Пушкин, посмотрел: под ремень ногтя не просунешь.

Засмеялся он, протянул руку:

- Прости меня, Гассан, пожалуйста, прости.

Любил Пушкин виноград, любил до страсти. Жадный был как ребенок. Едут они (с прадедом), бывало, мимо виноградника, Пушкин купит винограду, положит в шляпу и ест себе. А ел он очень смешно. Оторвет кисть—и всю ее в рот. Так много заберет, что и щеки надует. И начнет сосать. Сосет, а сам косточками плюется, птиц дразнит. Они глупые летят, думают: ну и хорошее же питание их ожидает... А это Пушкин косточками плюется, сам хохочет. как малый.

Любопытный был, просто как наши малые: всюду лез, обо всем выспрашивал. Увидит, как виноград давят, сейчас же туда мчится. Женщины ковры ткут, вышивают,—и он тут же сядет, просит песни петь, слов не знает, так подсвистывает. Потом поклонится всем в землю и пойдет себе. Любил он со стариками говорить, а те его называли „почтительный сын".

Однажды проезжал Пушкин мимо мечети. Муэдзин вышел с богом разговаривать. Мой прадед тут вспомнил:

— Надо зайти помолиться.

— Ну охота тебе, Гассан. Мне будет скучно без тебя. Поедем лучше в лес соловья слушать.

Стало джигиту жалко Пушкина: сильно он Пушкина полюбил.

— Ладно,—сказал он,—не пойду молиться. Грешу я с тобой Пушкин.

Удивительный это был человек... Едут, едут они, бывало вскарабкаются куда-нибудь высоко. Пушкин глядит во все стороны, на небо глядит, как дервиш, а потом начинает говорить быстро-быстро, а на глазах слезы.

— Что с тобой, Пушкин? Кто тебя обидел, скажи?

— Ничего, Гассан, это я с богом говорю...

„С богом...“ А сам моему прадеду молиться не давал. Удивительный...

Однажды Раевские послали человека за нашим джигитом, чтобы обязательно пришел: Пушкин зовет проститься, уезжает Пушкин. А в доме у Раевских гостей великое число: генералы, офицеры, женщины—старые и молодые, девицы. Столько золота, шелка, мундиров мой прадед никогда не видывал. Музыка играла так громко, что даже бури на море не слыхать было. Огни везде горели, как звезды на небе. Столов с кушаньями и винами сосчитать было невозможно.

Привели моего прадеда в чудный зал, а там за большим столом сидит Пушкин, веселый, лучше всех генералов и все то его слушают, как ангела.

Увидал Пушкин нашего джигита—к нему, обнял при всех и сказал:

— Это друг мой хороший.

Потом налил прадеду полный стакан самого лучшего вина и опять сказал:

— Верный ты, хороший был мне друг. Пей за мое здоровье.

Выпил Гассан и поклонился.

— Дожить тебе, Пушкин, до внуков и правнуков. Пусть они будут похожи на тебя. А я бы хотел перед смертью хоть один раз еще съездить с тобой в горы—весело было бы мне умирать.

Пушкин опять обнял его и заплакал. И Гассан, прадед мой, тоже заплакал. Больше он Пушкина не видел“.

Пытаться искать в этих рассказах историческую достоверность—труд бессмысленный и ненужный. Нам, повторяем, важно лишь отметить, что эти рассказы бытуют в среде гурзуфского крестьянства и трактуют Пушкина как милого, шаловливого и доброго человека и поэта.

О том, что татарское крестьянство, особенно гурзуф-

ское, знает и любит Пушкина, лучше всего можно судить по замечательному факту. В мае 1936 года гурзуфские колхозники вынесли постановление — ходатайствовать перед центральным правительством об организации в гурзуфском доме, в котором жил поэт, музея имени Пушкина.

VII

ПОЕЗДКА ПО ЮЖНОМУ БЕРЕГУ

В сентябре срок пушкинского отпуска кончился, и поэт, распрощавшись с семьей Раевских, отправился в обратный путь к месту своей ссылки. Вместе с Пушкиным выехали старик Раевский и его сын, которые должны были вернуться на службу в Киев. Остальные члены семейства должны были выехать несколькими днями позже, чтобы соединиться в Бахчисарае.

Из Гурзуфа всадники выехали 4 (или 5) сентября. Чтобы использовать несколько остающихся дней отпуска, решено было ехать не обычным путем через Алушту, но по тропам Южного берега до Шайтан-Мердвеня, а там, поднявшись по горной лестнице, пересечь Байдарскую долину и добраться до Бахчисарая. Путь этот был затруднителен, но интересен. В то время о какой-нибудь удобной дороге по побережью не приходилось и думать. Колесная дорога шла от Гурзуфа только до Алупки, да и то не везде безопасно. За Алупкой же, по словам Сумарокова, начиналась настоящая пустыня—безлюдная и глухая, с плохонькой вьючной тропой, огибавшей у Симеиза гору Кошку и дальше идущей между обломками скал и осыпями.

Первая половина пути до Алупки пройдена была, вероятно, за один день. Это были сравнительно удобные и веселые места с маленькими деревушками, лежащими то у самой дороги, то ниже ее. Путники проехали через Никитский сад и Массандру и, спустившись по косогору вниз, добрались до Ялты.

Ялта в те времена была крохотной деревушкой, расположенной у самого моря и едва ли насчитывавшей полсотни жителей. После выселения из нее в 1778 году греков в ней осталось лишь несколько домов, в которых стояли солдаты Балаклавского усмирительного батальона. Немногим более

было жителей и в соседней Аутке, через которую пришлось также проехать путникам. Вполне понятно, что Пушкин не нашел ничего такого, чем можно было бы Ялту помянуть. От Ялты дорога опять поднималась вверх и по густому лесу вела над Ориандой под обрывами Яйлы. С поворота дороги, что над Айтодорским мысом, Пушкин увидел прямо перед собой величественные отроги Ай-Петри, а внизу вдалеке Гаспру, Мисхор и Алупку. Гаспра как и примыкающий к ней Кореиз также были едва заметными деревеньками и лежали все еще довольно высоко над морем. В полуверсте за Кореизом дорога начинала спускаться вниз и по склону горы, над самым берегом, через великолепные заросли садов вела в Алупку.

К Алупке подъезжали, вероятно, при последних лучах солнца. Дни стояли хорошие, и море, если оно было спокойно, озарялось заходящим за гору Кошку солнцем. По хорошей дороге, идущей в садах, въехали в деревню и, раз уже допустить, что здесь назначили ночлег, отправились в одну из придорожных саклей.

За несколько лет до Пушкина в Алупке останавливался на ночлег П. Сумароков. Он так описал свое пребывание здесь:

„Озен-баши ввел нас в опрятную с диваном и камином комнату, которой стены убраны были шитыми платками и восточными тканями. Мы нежились тут по трудном переезде, толковали, сообщали друг другу свои замечания и в кругу добросердечных татар провели вечер. Но какие выражения или какие краски удобны начертать странное, при том причудливое положение, представшее нам по утру Алупки. Она дворов из 35 протягивается по утесистой горе, посреди торчащих чудовищной величины камней, так что каждый двор занимал между ими свободной промежуток, или видит таковую громаду уже совсем навислую над собой, или оная, как воздымающаяся пирамида заслоняет его окна. В сем виде строения спускаются по крутизне амфитеатром, над которым сплошная густота садов составляет зеленеющий и усеенный различными плодами свод. Ета дикость и разрушение прячутся под прелестями. Мы не сделали шагу, не пустили единого взора, чтобы не остановиться потом от изумления, и мне мечталось, что не в Италию ли я перенесен, или не в Египте ли

Пушкин в Алупке.

Картина академика Н. С. Самокиша.

разгуливаю. Там ты видишь спеющие фиги, миндаль, меспилы. Там сучья гнутся под гранатами, персиками. Здесь горделивые лавры отдаляются отъемным островком. Тут прямые как стены кипарисы облечены унылою зеленью, а там на шелковом дереве белые кисти, с нежными розовыми оттенками представляют прекрасное растение. Следуя по пути, устланному свалившимся пунцовым цветом от гренат, мы уклонились под висящими над нами гроздами винограда, рвали, резали, что хотели, и все к разборчивому пресыщению призывало. Какой бы вельможа не вздохнул здесь от зависти"[1].

За пятнадцать лет, которые отделяют Сумарокова от Пушкина, Алупка почти не изменилась[2], и Пушкин видел все то, что так красочно описывает его предшественник. Но это уж были последние времена. Если бы Пушкин (еще раз) приехал в Алупку через пять лет, то он ее не узнал бы. В Алупке появился вельможа.

Этим вельможей будет тот самый Воронцов, который позднее прославит себя отвратительными доносами на Пушкина, травлей и издевательством над великим поэтом.

Граф М. С. Воронцов приедет в Алупку в полном блеске своей административной власти, в качестве генерал-губернатора и начальника края. Это он выселит татарскую деревню вверх на скалы, чтобы выстроить на ее месте великолепный для себя дворец. Это он в течение десяти лет будет отнимать у алупкинских татар их участки, чтобы в течение следующих двадцати лет получать с этих земель богатейшие урожаи винограда. Это он заложит здесь основание огромной барской усадьбе, которая на протяжении почти целого столетия будет цвести плодами трудов татар.

Это он, тот самый вельможа, о котором Пушкин скажет потом свою знаменитую эпиграмму:

Полумилорд—полукупец,
Полумудрец—полуневежда,
Полуподлец, но есть надежда,
Что полным будет наконец.

---

[1] П. Сумароков. Досуги крымского судьи или второе путешествие в Тавриду, ч. II, 1805 г., стр. 195.

[2] О чем можно судить по очень сходному описанию Муравьева-Апостола, бывшего в Алупке за два месяца до Пушкина.

Из Алупки Пушкин с обоими Раевскими выехал по направлению к Симеизу.

За бухтой у причудливых скал Дивы и Монаха начиналась самая трудная часть пути. Узкая тропа шла „через вертепы и пропасти“ путем, который „одним помышлением о нем наводил трепет.“ Обогнув над самым морем обрывы горы, всадники въехали в Лименскую долину. Ехать пришлось медленно и осторожно. Уже здесь начинались следы обвалов и оползней, которые в 1787 году чуть было не уничтожили целую деревню Кучук-Кой. У Кикенеиза тропа шла еще хуже. Лошади пробирались между торчащими обломками огромных камней, в виду развалин древних исаров, лепящихся на отрогах гор. Часто скалы заграждали дорогу и нависали над самой головой проезжавших. Узкая тропа то и дело скользила по самому краю головокружительного обрыва. И все-таки „страшный переход по скалам Кикенеиза не оставил ни малейшего следа в моей памяти“,—вспоминал потом Пушкин.

В 12 верстах за деревней Кикенеиз предстояло еще одно испытание—Шайтан-Мердвень. Уже одно название, значущее по-русски „чортова лестница“, должно было привлекать и отпугивать путешественников. По крутой лестнице, нивесть когда сложенной из громадных камней, нужно было с Южного берега подняться на Яйлу. Весь подъем имел около шестисот метров в высоту, и это расстояние нужно было преодолеть, карабкаясь с камня на камень по крутизнам в узком ущелье, дающем до сорока крутых поворотов. До прокладки в 1837 году севастопольского шоссе это был единственный способ сообщения между берегом и остальной частью полуострова, ибо уже за Мердвенем над морем проезд был почти совершенно невозможен.

„По горной лестнице,— пишет Пушкин,— взобрались мы пешком, держа за хвост татарских лошадей наших. Это забавляло меня чрезвычайно и казалось каким-то восточным обрядом. Мы переехали горы, и первый предмет, поразивший меня, была береза, северная береза. Сердце мое сжалось: я начал тосковать о милом полудне, хотя все еще находился в Тавриде, все еще видел и тополи и виноградные лозы“.

VIII

ГЕОРГИЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

По Яйле ехать было уже легко. Дорожка бежала по широким водопромоинам, так что лошадям приходилось лишь обходить наносы земли и камней, загромождавших в некоторых местах путь. Вокруг шумел хороший буковый лес, а кое-где встречались обширные поляны с зелеными пастбищами.

Скоро въехали в Байдарскую долину. Памятная по путешествию Екатерины и потому очень популярная среди путешественников эта долина и в самом деле очень живописна. Широкие зеленеющие склоны ее спускаются амфитеатром вниз, где виднеются деревеньки с маленькими квадратиками огородов и темными купами садов. В Байдарской долине свернули с дороги и, вместо того чтобы ехать в Бахчисарай, направились в Георгиевский монастырь. Его, как и Пантикапею, нужно было посмотреть во что бы то ни стало. С ним, по укоренившемуся мнению, связан был один из самых прекрасных и поэтических мифов—классическая легенда об Ифигении, ее брате Оресте и о приятеле Ореста—Пиладе. Быть в Крыму и не посмотреть места, прославленного знаменитой легендой, это значило почти то же, что быть в Риме и не видеть папы.

Итак, свернув с бахчисарайской дороги, путешественники направились к монастырю.

Георгиевский монастырь—живописнейшее место Тавриды,—расположен на крутой, обрывистой скале в трех верстах у мыса Фиолента. На самом краю уступа лепилось в горе несколько скромных строений, небольшие кельи монахов и небольшая церковка для общих богослужений. Все эти постройки соединены между собой узкой террасой, высеченной в скале и буквально висящей над пропастью. Самое замечательное в монастыре—лестница, вырубленная в обрыве для спуска из монастыря к морю.

Вид Георгиевского монастыря с моря.

Старинная литография худ. Д. Кленова.

„Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю,— пишет Пушкин,—оставили во мне сильное впечатление".

Осмотрев монастырь и оставив в нем лошадей, путники отправились на мыс Фиолент, где по предположению Сестреневича, основанному на показаниях Страбона и Геродота, и должны, собственно, находиться остатки храма, в стенах которого произошла знаменитая встреча Ифигении с братом и знаменитый же спор Ореста с Пиладом.

В мифе об Ифигении рассказывается так. В день, когда флот греческого царя Агамемнона должен был выступить из Авлиды под Трою, богиня Диана (Артемида), сердитая на царя за прежние его проступки, приказала ветрам перестать надувать паруса кораблей. Чтобы умилостивить грозную богиню, Агамемнон согласился принести ей в жертву любимую свою дочь Ифигению. Но в минуту жертвоприношения Диана похитила девушку и, оставив вместо нее молодую лань, перенесла живой и невредимой в далекую Тавриду. Там в стране, населенной кровожадными таврами, Ифигения сделалась жрицей в прекрасном храме, выстроенном в честь богини на высоких уступах приморских скал. Прошло много лет. Верно служа Диане, Ифигения приносила ей кровавые жертвы, сбрасывая со скалы в море тех редких и случайных мореплавателей—эллинов, которых заносило к соседним берегам. И вот однажды по роковому стечению обстоятельств в страшную Тавриду попал брат Ифигении Орест (Атрид) со своим верным другом Пиладом. Чтобы избавиться Оресту от мучившего его безумия, юноши по толкованию оракула должны были похитить из грозного таврического храма статую богини Дианы. Опасное это предприятие с самого начала потерпело неудачу. Друзья были схвачены таврами и, несмотря на героическое сопротивление, предстали перед лицом жрицы. Ифигения брата не узнала и приготовилась свершить свою страшную обязанность. Но вид прекрасных юношей и их эллинская речь разбудили в суровой жрице тоску по родине. Благоприятный случай передать родным весть о себе заставил Ифигению принять быстрое решение. Обратившись к жертвам, она предложила им сделать выбор—один из юношей должен умереть, другой же вернется в Грецию и передаст от нее письмо в Микены. И вот начался, ставший столь зна-

менитым, спор друзей. Орест убеждал Пилада, что только ему, Оресту, безумному и обреченному, надлежит стать жертвой казни. Пилад возмущенно оспаривал свое право, считая, что только ему, Пиладу, следует погибнуть и ценой своей жизни спасти друга. Этот единственный по благородству и высокому великодушию спор друзей потряс Ифигению, которая к тому же признала в Оресте своего брата. И вот, изменяя таврам, хитрая эллинка обманывает их бдительность и спасает друзей, покидая вместе с ними суровую Тавриду для мирной Эллады.

Таков сюжет этого замечательного мифа. Пушкин знал его очень хорошо, во-первых, потому, что еще в лицее получил прекрасное знакомство с античной мифологией. С другой стороны, об Ифигении и знаменитых друзьях Пушкин неоднократно читал в классической литературе. Гомер и Стезихор, Эсхил и Софокл, Эврипид и Овидий, Расин и Гете, претворявшие в своих произведениях миф об Ифигении, были знакомы Пушкину отнюдь не по наслышке. Для Пушкина, который по лицею привык высоко ценить искреннюю дружбу и любил поднимать тост в честь „дружбы многолетней", миф об Оресте и Пиладе особенно был привлекателен. Поэтому, поднявшись на Фиолент, поэт тотчас же принялся разыскивать остатки храма.

„Тут же,—пишет он,—видел я и баснословные развалины храма Дианы. Видно мифологические предания счастливей для меня воспоминаний исторических; по крайней мере тут посетили меня рифмы".

Естественно, что, размышляя о дружбе Ореста и Пилада, Пушкин вспомнил о своих друзьях, оставленных им в далеком Петербурге. Перебирая в памяти дорогие имена, Пушкин остановился мыслью на Чаадаеве. Кто же как не он был в эту минуту Пиладом для Пушкина. К кому же, как не к нему было обратиться сейчас поэту. Заботливый и верный друг, нравственно поддержавший поэта в самую трудную минуту его жизни[1], не оставлявший его своим

[1] Незадолго до высылки Пушкина Толстой-Американец распустил слух о том, что Пушкина за противоправительственные слухи высекли в тайной канцелярии. Пушкин писал, что эта клевета привела его к мыслям о самоубийстве. Высокая нравственная поддержка, которую оказал Пушкину Чаадаев, может быть, явилась единственным спасением поэта.

милым вниманием ни на шаг, Чаадаев был именно таким человеком, о котором здесь у печальных развалин больше всего томилось сердце.

Но дружбы нет со мной: печальный вижу я
Лазурь чужих небес, полдневные края,
Ни музы, ни труды, ни радости досуга,
Ничто не заменит единственного друга...

писал Чаадаеву Пушкин немного позднее. „Тебя не достает душе моей усталой“,—говорит он о нем тогда же. Пушкин гордился дружбой с Чаадаевым и считал, что эта дружба заменила ему счастье. И сейчас, сидя на камнях мыса Фиолент, Пушкин вспомнил прежде всего о Чаадаеве.

Желанье вновь побыть с другом, передать ему навеянные думы, поделиться с ним воспоминаниями, рассказать о себе, привело Пушкина к стихам.

„Тут посетили меня рифмы. Я думал стихами. Вот они:

К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношенья;
Здесь успокоена была
Вражда свирепой эвмениды,
Здесь провозвестница Тавриды
На брата руку занесла;
На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество,
И дум великих божество
Своим созданьем возгордилось.
. . . . . .
Чадаев, помнишь ли былое?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина,
И в умиленьи вдохновенном
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.

К сожалению, время стерло надпись, сделанную Пушкиным. Но Георгиевский монастырь и мыс Фиолент остались увековеченными памятью поэта.

Вид Георгиевского монастыря.

Старинная литография худ. Кюгельхена

Вероятно здесь путешественники заночевали. Впереди предстоял последний переезд до Бахчисарая.

Из Георгиевского монастыря в Бахчисарай можно было ехать двумя путями—или через Севастополь и дальше по долине Бельбека, или же через деревни Чоргунь, Шули, Мангуп и Каралез. Во втором случае тропа пролегала по узкому каньону между отвесных утесов и только за последней деревней превращалась в широкую экипажную дорогу. Друзья выбрали второй путь. Перед ними открылись новые картины—живописные ущелья, причудливые очертания скал, древние пещерные города на высоких плоскогорьях. Пушкин ехал, почти не оглядываясь по сторонам. То ли плохая погода, то ли неудачные ночевки снова разбудили в нем лихорадку.

„В Бахчисарай,—пишет он,—приехал я больной".

БАХЧИСАРАЙ

Некогда цветущая столица крымских ханов Бахчисарай к моменту приезда туда Пушкина был опустевшим, полусонным городком. Въезд в город открывали каменные ворота, своего рода триумфальная арка, поставленная Потемкиным к приезду Екатерины II. От этих ворот начиналась длинная улица, ведущая вдоль ряда небольших хибарок, которые только к центру города принимали вид более или менее благоустроенных татарских домов и лавок. Собственно центр города представлял собой сплошной базар, расположенный по сторонам улицы в виде торговых лавок, кожевенных и посудных мастерских, кофеен, шашлычных и чебуречных. У открытых дверей своих помещений, поджав ноги, сидели торговцы и ремесленники, занимаясь тут же на улице каждый своим делом. Здесь царило сравнительное оживление—крики погонщиков, грохот арб, зазывания торгашей, стук и звон в посудных и сапожных лавках смешивались в причудливую симфонию восточного города. Грязная и вонючая речушка Чурук-Су, протекающая правее главной улицы, застроена была по обоим берегам беспорядочной массой строений, между которыми извивались узенькие и тесные улочки, почти прикрытые сверху нависающими балконами домов. Несколько мечетей вытягивались из этого хаоса вверх шпилями своих белых минаретов. В конце главной улицы дорога немного спускалась вниз и приводила к главной достопримечательности Бахчисарая—Хан-Сераю, знаменитому ханскому дворцу.

От былой славы Бахчисарая дворец остался великолепным, но безмолвным свидетелем. Собственно говоря, от первоначального своего вида он сохранил уже немного—позднейшие переделки и перестройки сильно изменили его архитектуру.

Основанный в 1519 году ханом Абдул-Сехал-Гиреем, дворец несколько раз подвергался разорению. В 1736 году он был сожжен войсками Миниха так, что остались лишь бани и кладбища. Выстроенный заново он был разграблен в 1738 году фельдмаршалом Ласси. Наконец, снова отстроен в 1750 году Керим-Гиреем и снова разрушен в 1771 году войсками князя Долгорукого-Крымского. Последний хан Шагин-Гирей, покидая в 1783 году свою столицу, вывез из дворца все ценное и оставил екатерининским войскам одни лишь ободранные стены. В 1787 году Потемкин решил украсить дворец к приезду Екатерины. Тогда произвели неумелую реставрацию, исказившую дворец. Наконец в 1818 году, к приезду Александра I, дворец решили реставрировать еще раз, но лишь успели разобрать 70 обветшавших гаремных комнат, и на этом дело пока что стало.

В таком заброшенном и неустроенном виде увидел дворец Пушкин:

Покинув север наконец,
Пиры надолго забывая,
Я посетил Бахчисарая
В забвеньи дремлющий дворец;
Среди безмолвных переходов
Бродил я там, где, бич народов,
Татарин буйный пировал
И после ужасов набега
В роскошной лени утопал.
Еще поныне дышит нега
В пустых покоях и садах;
Играют воды, рдеют розы
И вьются виноградны лозы
И злато блещет на стенах.
Я видел ветхие решетки,
За коими, в своей весне,
Янтарны разбирая четки,
Вздыхали жены в тишине.
Я видел ханское кладбище,
Владык последнее жилище,
Сии надгробные столбы,
Венчанны мраморной чалмою,
Казалось мне, завет судьбы
Гласили внятною молвою.
Где скрылись ханы? Где гарем?
Кругом все тихо, все уныло,
Все изменилось...

Вид Бахчисарайского дворца.

Старинная литография худ. Боссоли и Кленова.

О том же говорит Пушкин и в своем письме к Дельвигу: „Я обошел дворец с большой досадою на небрежение, в котором он истлевает, и на полуевропейские переделки некоторых комнат. Н. Н. [1] почти насильно повел меня по ветхой лестнице в развалины гарема и на ханское кладбище—

Но не тем
В то время сердце полно было:

лихорадка меня мучила".

Еще в бытность свою в Петербурге Пушкин слышал поэтическую легенду о любимой жене хана, смерть которой хан долго оплакивал и в память которой он поставил оригинальный памятник „Фонтан слез".

„К. поэтически описывал мне его, называя la fontaine des larms. Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан, из заржавой железной трубки по каплям падала вода".

Как это часто бывало в жизни и творчестве Пушкина, прозаическое посещение исторического фонтана впоследствии преломилось через „магический кристалл" его поэтического замысла в замечательном стихотворении:

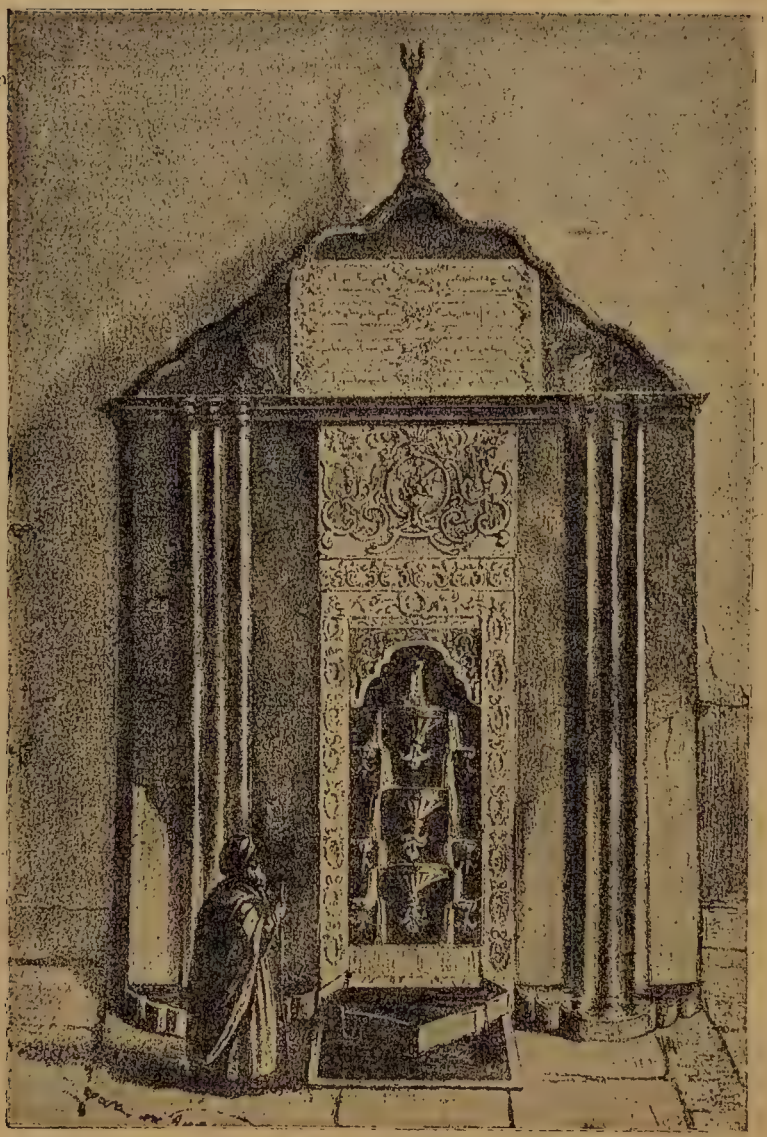
Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы,
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы.
Твоя серебряная пыль
Меня кропит росою хладной:
Ах, лейся, лейся, ключ отрадной,
Журчи, журчи свою мне быль...
. . . . . .

С „фонтаном слез" уже задолго до Пушкина связывали имя Марии Потоцкой—польской княжны, якобы похищенной крымским ханом и сделавшейся его женой. Это предание, не имеющее в себе особой достоверности, и легло в основу знаменитой поэмы Пушкина „Бахчисарайский фонтан".

Пушкин прекрасно учитывал историческую недостоверность предания. В указанном выше стихотворении он говорит:

---

[1] Раевский.



„Фонтан слез“ в Бахчисарайском дворце.

Старинная литография.

Фонтан любви, фонтан печальной,
И я твой мрамор вопрошал:
Хвалу стране прочел я дальной;
Но о Марии ты молчал...
Светило бледное гарема,
И здесь ужель забвенно ты?
Или Мария и Зарема
Одни счастливые мечты?
Иль только сон воображенья
В пустынной мгле нарисовал
Свои минутные виденья,
Души неясный идеал?

В действительности женой хана, в память которой был поставлен фонтан слез, была, повидимому, грузинка Дилара Бикеч, мавзолей которой с ее именем находится в Бахчисарае.

„Что касается до памятника ханской любовницы, о которой говорит М., я о нем не вспомнил, когда писал свою поэму, а то бы непременно им воспользовался".

Если Пушкин и не воспользовался мавзолеем, то образом Дилары Бикеч, наряду с Потоцкой, он все же воспользовался. Не лишено любопытства, что в поэме „Бахчисарайский фонтан" пленная жена хана нашла свое отражение дважды: ее исторический облик—грузинка Дилара Бикеч—послужил прототипом Заремы, тот же образ Дилары Бикеч, в предании превратившийся в Марию Потоцкую, был противопоставлен Дилара—Зареме.

„Бахчисарайский фонтан" является одной из лучших поэм поэта.

„Все оттенки мнений, разделявших литературу нашу, слились при появлении „Бахчисарайского фонтана" в одну похвалу неслыханной еще дотоле гармонии языка, небывалой у нас роскоши стихов и описаний, какими отличалась поэма. В ней видели торжество русского языка" (Анненков).

Пушкин на ханском кладбище в Бахчисарае.

Акварель художника Сурепьянца.

X

СИМФЕРОПОЛЬ. ОТЪЕЗД ИЗ КРЫМА

В Бахчисарае Пушкин и Раевские провели ночь. По заведенному для „знатных особ“ правилу ночевали во дворце. Как раз в эти дни начался байрам[1]. Пользуясь праздником, молодежь с утра до вечера развлекалась играми, состязаниями в борьбе, танцами и музыкой. Пушкин впервые присутствовал на байраме и потому с живым интересом наблюдал за веселящимся народом. Свое впечатление от бахчисарайского праздника он передал вскоре в поэме „Кавказский пленник“, где, описывая байрам на Кавказе, он несомненно пользуется картиной, виденной им в Крыму (иначе и не может быть, потому что, будучи на Кавказе летом, Пушкин байрама видеть там не мог).

Бывало в светлый Байран
Сберутся юноши толпою;
Игра сменяется игрою:
То, полный разобрав колчан,
Они крылатыми стрелами
Пронзают в облаках орлов;
То, с высоты крутых холмов
Нетерпеливыми рядами,
При данном знаке, вдруг падут,
Как лани землю поражают.
Равнину пылью покрывают
И с дружным топотом бегут.

Интересовала Пушкина, повидимому, и татарская музыка и песня. Отзвуком этого интереса можно считать татарскую песню, вкомпанованную поэтом в „Бахчисарайский фонтан“.

При незнании местного языка Пушкин не смог, конечно, дать настоящего фольклорного текста, однако, песня,

[1] Мусульманский праздник Курбан-Байрам начался в 1820 году 6 сентября, так что в тот день, когда Пушкин был в Бахчисарае, был 2-й день праздника.

интересна тем, что по ней можно судить о том, как представлялся Пушкину татарский фольклор. Любопытно, что в этой песне религиозным заслугам предпочитаются земные радости.

Ночью Пушкин еще раз по-новому увидел Бахчисарай:

Настала ночь; покрылись тенью
Тавриды сладостной поля:
Вдали под тихой лавров сенью
Я слышу пенье соловья;
За хором звезд луна восходит;
Она с безоблачных небес
На долы, на холмы, на лес
Сиянье томное наводит.
Покрыты белой пеленой,
Как тени легкие мелькая,
По улицам Бахчисарая
Из дома в дом, одна к другой,
Простых татар спешат супруги
Делить вечерние досуги.

На другой день, рано утром, путешественники двинулись в дальнейший путь и часам к 12 дня были уже в Симферополе.

После богатых впечатлений полуденного Крыма и Бахчисарая Симферополь не поразил, да и не мог поразить воображение Пушкина. Путники въехали в маленький городок и долго плутали в кривых немощеных улицах, пока не добрались до дома губернатора. Однообразные строения, крытые черепицей, высокие заборы, сложенные из камня, бесконечные мечети—все это было скучено и неблагоустроено. Через город протекал грязный Салгир, и берега его были завалены мусором и нечистотами. Внешний облик города дополняли казенные четыреугольники казарм, с серыми стенами, обильно забрызганными грязью. В 1802 году Симферополь стал административным центром губернии, но долго еще, по выражению Грибоедова, продолжал оставаться „дрянным городишкой".

С губернатором А. Н. Барановым Пушкин был знаком еще по Петербургу. Совсем еще молодой человек, Баранов являлся одним из тех либерально настроенных дворян, с которыми Пушкин общался по выходе из лицея. Вероятнее всего Пушкин познакомился с ним у А. И Тургенева, другом которого был Баранов. По отзыву Пушкина это был „честный гражданин и умный человек". Губернатором он

был назначен всего лишь за год до этого и в Симферополе был еще в сущности новым человеком. Он радушно принял путешественников и поместил их в своем доме.

В Симферополе друзья провели несколько дней. Пушкин все еще чувствовал себя нездоровым и вряд ли выходил из дому, чтобы посмотреть город.

В стихотворениях Пушкина несколько раз упоминается Салгир. Это давало повод предполагать, что поэт воспел симферопольскую речку. В последнее время пришли к выводу, что такое предположение неосновательно. Дело в том, что на крымско-татарском языке салгиром называется вообще река или сухоречье в нарицательном, а не собственном смысле слова. Поэтому нужно считать, что, упоминая о салгире, Пушкин имел в виду не симферопольские свои впечатления, но гурзуфские, а именно речку Авунду, протекающую в окрестностях Гурзуфа.

Симферополь был последним пунктом в крымском путешествии поэта. На этом оканчивался первый период его изгнания, дальше наступила собственно ссылка.

Здесь поэт распрощался со своими спутниками. Прощанье было горькое и безотрадное. За три месяца совместных скитаний поэт всем сердцем привязался к друзьям и чувствовал себя членом их семьи. Обращаясь к Николаю Раевскому, Пушкин говорил:

Я рано скорбь узнал, постигнут был гоненьем;
Я жертва клеветы, измены и невежд;
Но, сердце укрепив свободой и терпеньем,
Я ждал беспечно лучших дней;
Поэт не унывал—и счастие друзей
Мне было сладким утешеньем.

Надо было спешить. Пушкин еще раз обнял друзей и пожал им руки. Лошади были готовы. Путь лежал через степи Перекопа, а оттуда в Кишинев, куда с назначением генерала Инзова начальником Бессарабской области был переведен из Екатеринослава попечительный комитет о колонистах южного края.

Пушкина снова ожидали одиночество, скука, заботы, потом одесские огорчения, саранча, „милорды“ Воронцовы, потом клевета и доносы, потом новая ссылка в Михайловское, в снега, „далекий северный уезд“.

XI

ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЫСЛИ О КРЫМЕ

Через три дня по приезде в Кишинев Пушкин сел писать письмо брату:

„Милый брат, я виноват перед твоею дружбою. Постараюсь загладить вину мою длинным письмом и подробными рассказами“...

В этом прекрасном и трогательном письме Пушкин шаг за шагом рассказал брату о всем своем путешествии. Впечатления еще не успели увянуть в его сердце, и он облек их в замечательные поэтические строки. Он рассказал, как Раевские нашли его больного в Екатеринославе, как взяли с собой в поездку, как жили они вместе на Кавказе, как отправились потом через Таманский полуостров в Крым. Пушкин писал, и памятные места проходили перед его глазами. Корабль, плывущий перед горами, покрытыми тополями, виноградниками, лаврами, кипарисами, татарские селения, мелькающие по склонам, полуденное небо, сады, море. Незабываемые три недели в Юрзуфе с Раевскими. „Суди, был ли я счастлив?“

„Друг мой, любимая моя надежда увидеть опять полуденный берег...“

Желание вновь увидеть места, ставшие ему дорогими, возникло в Пушкине сразу же после окончания путешествия и потом никогда уже не покидало его. Крым проходит через всю его последующую поэзию яркой неизгладимой полосой.

В 1821 году, живя в Кишиневе, он страстно вспоминает „край, где роскошью природы оживлены дубравы и луга“, где

> ...шелковиц и тополей прохлада,
> В тени олив уснувшие стада,
> Вокруг домов решетки винограда,
> Монастыри, селенья, города,

Прилива шум и говор водопада,
И средь валов летучие суда,
И яркие лучи златого Феба,
И синий свод полуденного неба.

Туда влечет поэта непреодолимо. С надеждой и сомненьем он спрашивает себя:

Увижу ль вновь сквозь темные леса
И своды скал, и моря блеск лазурный,
И ясные как радость небеса?
Утихнет ли волненье жизни бурной?
Минувших лет воскреснет ли краса?
Приду ли вновь под сладостные тени
Душой уснуть на лоне мирной лени?

Одна мысль—снова и снова:

Приду ли вновь, поклонник муз и мира,
Забыв молву и света суеты,
На берега веселого Салгира
Воспоминать души моей мечты?

В 1822 году Пушкин начинает поэму „Таврида". В ней он снова видит себя в милом Крыму.

В 1823 году, заканчивая „Бахчисарайский фонтан", Пушкин с надеждой и радостью мечтает:

О, скоро вас увижу вновь,
Брега веселые Салгира!
Приду на склон приморских гор,
Воспоминаний тайных полный,
И вновь таврические волны
Обрадуют мой жадный взор.

В 1824 году воспоминания о Крыме с особой силой нахлынули на Пушкина. Вынужденный сидеть в глуши Михайловского, поэт стремится душой к берегам Тавриды. Именно к этому году относят такие его крымские произведения, как „Виноград", „Фонтану Бахчисарайского дворца", „Подражание турецкой песне".

В ноябре этого года Пушкин просит брата прислать ему „Путешествие по Тавриде"—Муравьева-Апостола и, прочитав в декабре эту книгу, еще раз передает свои крымские впечатления в письме к Дельвигу. В этом исключительно интересном письме Пушкин снова признается в желании посетить Крым:

„Растолкуй мне теперь: почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую? Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные мною с таким равнодушием?“

В 1825 году воспоминания о Крыме выливаются у Пушкина в двух стихотворениях—„Буря“ и „Блестит луна, недвижно море спит“.

В 1827 году Крым снова возникает в строфах его „Талисмана“ („Там где море вечно плещет“).

В 1828 году мысль поэта опять возвращается к Крыму, и он пишет стихотворение „В прохладе сладостной фонтанов“.

В 1829 году крымская обстановка еще раз появляется в незаконченных стихах: „Сей белокаменный фонтан“.

В 1830 году в Болдине Пушкин пишет „Странствование Онегина“. Заставляя своего героя путешествовать по России, он приводит его на Южный берег Крыма. Дорогие сердцу картины с новой силой овладевают поэтом:

Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля
При свете утренней Киприды,
Как вас в п е р в о й увидел я...

И здесь Пушкин не расстается с мечтой увидеть Крым еще, хотя и вынужден признать, что

Смирились вы, моей весны
Высокопарные мечтанья.

Да, „высокопарным“ мечтаньям Пушкина пришлось смириться. Заветной его мечте сбыться было не суждено—Пушкин так и не увидел больше „волшебный край, очей отраду“.

Характерно, что возможность поехать в Крым Пушкину представлялась дважды, но дважды „зависимость от хорошего или дурного пищеварения начальника“ мешала этой возможности осуществиться.

В 1822 году новый начальник Пушкина граф Воронцов купил у Ришелье его гурзуфское имение вместе с тем самым домом, в котором останавливался в 1820 году Пушкин. Осенью Воронцов предполагал отпраздновать там новоселье, Пушкин, в качестве посетителя дома Ворон-

цовых, рассчитывал быть в числе приглашенных. В письме к Вяземскому он пишет: „Что если бы ты заехал к нам на юг нынче весной? Мы бы провели лето в Крыму, куда собирается пропасть дельного народа, женщин и мужчин". Надеждам поэта сбыться, однако, не пришлось. К моменту поездки взаимоотношения между Пушкиным и Воронцовым крайне обострились, и высокомерный граф, взбешенный независимостью и непокорностью опального поэта не только не пригласил его в поездку, но клеветническими происками добился высылки его на север.

В 1823 году Пушкину еще раз представился случай поехать в Крым. Добрый его знакомый, хозяин Каменки, А. Л. Давыдов пригласил поэта плыть вместе с ним на Южный берег. Как это ни было горько, Пушкину пришлось отказаться:

Нельзя, мой толстый Аристипп:
Хоть я люблю твои беседы,
Твой милый нрав, твой милый хрип,
Твой вкус и жирные обеды,
Но не могу с тобою плыть
К брегам полуденной Тавриды.

Принять приглашение было нельзя. Начальство уже занесло над поэтом руку. Мечта и в этот раз, в последний раз осталась невыполненной.

В последующие годы жизни поэта о выполнении этой мечты не могло уже быть и речи. Измученный тяжкими обстоятельствами, задавленный долгами, преследуемый жандармами, опекаемый самим царем, великий Пушкин не мог попасть в Тавриду, как бы туда ни стремился. Недреманные очи третьего отделения зорко следили за каждым движением поэта, каждый шаг его казался им подозрительным. Работа и отдых, знакомства и встречи с друзьями, самая женитьба—все проходило под наблюдением всесильных Бенкендорфов. Правительство подстерегало каждую мысль поэта, следило за каждой строчкой его стихов, вскрывало его письма, устанавливало особую усиленную цензуру. Будучи формально на свободе, Пушкин до конца дней своих прожил фактически ссыльным, узником его императорского величества, и петля, наброшенная правительством на поэта, стягивалась с каждым годом все туже и туже. Незадолго

Пушкин и князь Воронцов.

Картина академика Н. С. Самокиша.

до трагедии Пушкину был пожалован издевательский титул камер-юнкера—„милость", о которой поэт не мог думать без гнева и раздражения. Семейная жизнь поэта, „контролируемая" царем, стала предметом издевательств и сплетен высшего света—той самой великосветской черни, о которой с таким негодованием писал Пушкин. И эта чернь отомстила поэту. Опутав его сетями чудовищной клеветы, осыпав оскорбительными анонимными письмами, она принудила его к смертельному поединку.

Бросая, по словам современника, вызов целому обществу, Пушкин принял дуэль с сыном голландского посланника Жоржем Дантесом. 27 января 1837 года роковая пуля этого наемного убийцы смертельно ранила поэта. 29 января, после страшных мучений, в 2 часа 45 минут пополудни сердце величайшего поэта остановилось—Пушкина не стало.

Преследования Пушкина не остановились и на этом. Правительство запретило печатать некрологи об убитом поэте. Лермонтов, написавший на смерть Пушкина стихотворение, поплатился ссылкой на Кавказ. Даже похороны Пушкина были скрыты от народа. Правительство боялось неминуемых демонстраций. В глухую ночь после отпевания тела жандармы тайно вынесли гроб с покойным из церкви и, накрыв его рогожей, повезли в далекий Святогорский монастырь.

Там на скромном кладбище монастыря 6 февраля состоялись похороны. У свежей могилы стоял лишь единственный из близких Пушкину людей—его друг А. И. Тургенев.

Кто знает, какими новыми произведениями обогатила бы русскую литературу муза Пушкина, если бы поэту удалось исполнить постоянную свою мечту и побывать в Крыму? Какие новые поэмы и стихотворения читали бы мы и заучивали наизусть, если бы Пушкин приехал еще и еще раз в любимую им Тавриду? Безжалостен вопрос и бесполезны размышления.

ХРОНОЛОГИЯ

путешествия А. С. Пушкина по Кавказу и Крыму в 1820 г.

Апреля середина. Объяснения Пушкина о своих политических стихотворениях у петербургского генерал-губернатора гр. М. А. Милорадовича.

Мая 5. Утверждение Александром I письма гр. И. А. Каподистрия за подписью гр. К. В. Нессельроде к И. Н. Инзову о прикомандировании Пушкина к канцелярии Инзова сверх штата.

Мая 16 (или 18). Приезд в Екатеринослав.

Мая 26 (или 28). Отъезд из Екатеринослава на Кавказ с семейством Раевских.

Июня 4. Приезд с Раевскими на Кавказские минеральные воды.

Июнь—июль. Начало написания „Кавказского пленника".

Августа 5. Отъезд с Раевскими из Пятигорска.

Августа 12 (или 13). Прибытие в Тамань.

Августа 15. Переезд из Тамани в Керчь.

Августа 16 (или 17). Отъезд из Керчи в Феодосию.

Августа 17 (или 18). Переезд из Феодосии в Гурзуф.

Августа 17 (или 19). Прибытие в Гурзуф с семьей Раевских.

Сентября 4 (или 5). Отъезд с Н. Н. Раевским-старшим из Гурзуфа.

Сентября 5. Ночевка в Алупке (?).

Сентября 6. Ночевка в Георгиевском монастыре (?).

Сентября 7. Пребывание в Бахчисарае.

Сентября 8. Приезд в Симферополь с Н. Н. Раевским-старшим.

Сентября 21. Приезд в Кишинев.

БИБЛИОГРАФИЯ

по вопросу пребывания в Крыму Пушкина

1. Пушкин. Полное собрание сочинений. Изд. под ред. Венгерова, изд. „Красной Нивы" шеститомник, академическое изд. (юбилейное) 1936-37 г.
2. Бартенев, П. Пушкин в Южной России. „Рус. арх., 1866 г. №№ 8—9.
3. Маркевич, Арс. Пушкин в Крыму и Крым в произведениях Пушкина. „Оттиск из Тавр. губ. ведомостей". Симф. 1887 г.
4. Маркевич, Арс. Пушкин и Крым. ИТУАК, № 30, 1899.
5. Карский, М. Пушкин в Тавриде. Симф. 1899.
6. Булашев, Г. О. Пушкин на юге России. Сборник статей об А. С. Пушкине, Изд. Киев. Пед. О-ва. К. 1899.
7. Александровский, Г. В. „Из юбилейных чтений о Пушкине." Ежегодник комиссии Павла Галагана. 1898-99.
8. Житецкий, И. П. Из первых лет жизни Пушкина на юге России. „Киевская старина". 1899.
9. Маркевич, Арс. Пушкин и Новороссийский край. Одесса. 1900.
10. Бертье-Делагард, А. Л. Память о Пушкине в Гурзуфе. „Пушкин и его современ." Вып. XVII—XVIII.
11. Лернер, Н. К. К хронологии пребывания Пушкина в Крыму. „Русская старина", 1912, кн. 4.
12. Василевский, И. Н. Пушкин в Крыму. Еженед. прил. к газ. „Красный Крым", июль, 1927.
13. Акад. Платонов, С. Ф. Пушкин и Крым. ИТУАК т. II.
14. Адрианов, С. Пушкин и Крым. ИТУАК, т. II (59) 1928 г.
15. Соколов, Д. К вопросу о пушкинских местах в Гурзуфе. „Пушкин и его современ." Вып. XXIII—XXIV.
16. Недзельский, Б. Л. Пушкин в Крыму. Крымгиз. 1929.
17. Брюсов, В. Я. Пушкин в Крыму. „Мой Пушкин", ГИЗ. 1929 г.
18. Белоусов, И. Пушкин в Гурзуфе, сборник „Дорогие места." Т-во книгоизд.
19. Мануйлов, В. А. Бахчисарайский фонтан. В этой книге есть библиографический указатель по вопросу.
20. Свирин, Н. Пушкин и Крым. Журнал „Звезда", 1935, № 12.
21. Тур, Евгения. Крымские письма („С.-Петербург. ведомости". 1853 № 214.
22. Некрасов, Н. А. Декабристы.
23. Чистяков. Поэт и соловей. „Блеск и тьма". VI.
24. Подолинский, А. И. Переезд через Яйлу по Южн. бер. Тавриды „Современник", 1838 г. № 3. Перепеч. в сб. под ред. Маркевича. „Крым в поэзии".
25. Караваева, А. Находка в горах. „Прожектор" № 12, 1934 г.

КРЫМ И ЧЕРНОЕ МОРЕ
В ПОЭЗИИ
А. С. ПУШКИНА

1

ЭЛЕГИЯ

Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края:
С волненьем и тоской туда стремлюся я,
Воспоминаньем упоенный...
И чувствую: в очах родились слезы вновь;
Душа кипит и замирает;
Мечта знакомая вокруг меня летает;
Я вспомнил прежних лет безумную любовь,
И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило,
Желаний и надежд томительный обман...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной угрюмый океан.
Лети, корабль, неси меня к пределам дальным
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей,
Страны, где пламенем страстей
Впервые чувства разгорались,
Где музы нежные мне тайно улыбались,
Где рано в бурях отцвела
Моя потерянная младость,
Где легкокрылая мне изменила радость
И сердце хладное страданью предала.
Искатель новых приключений,
Я вас бежал, отечески края;
Я вас бежал, питомцы наслаждений,

Минутной младости минутные друзья;
И вы, наперсницы порочных заблуждений,
Которым без любви я жертвовал собой,
Покоем, славою, свободой и душой,
И вы забыты мной, изменницы младые,
Подруги тайные моей весны златыя,
И вы забыты мной... Но прежних сердца ран,
Глубоких ран любви, ничто не излечило...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан...

2

ЧААДАЕВУ

К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношенья;
Здесь успокоена была
Вражда свирепой эвмениды:
Здесь провозвестница Тавриды
На брата руку занесла;
На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество,
И душ великих божество
Своим созданьем возгордилось.
. . . . . .
Чадаев, помнишь ли былое?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина,
И, в умиленьи вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.

3

НЕРЕИДА

Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду,
На утренней заре я видел нереиду
Сокрытый меж дерев, едва я смел дохнуть:
Над ясной влагою полубогиня грудь
Младую, белую как лебедь, воздымала
И пену из власов струею выжимала.

4

Редеет облаков летучая гряда.
Звезда печальная, вечерняя звезда!
Твой луч осеребрил увядшие равнины
И дремлющий залив и черных скал вершины...
Люблю твой слабый свет в небесной вышине;
Он думы разбудил, уснувшие во мне:
Я помню твой восход, знакомое светило,
Над мирною страной, где все для сердца мило,
Где стройны тополи в долинах вознеслись,
Где дремлет нежный мирт и темный кипарис,
И сладостно шумят полуденные волны.
Там некогда в горах, сердечной думы полный,
Над морем я влачил задумчивую лень,
Когда на хижины сходила ночи тень,
И дева юная во мгле тебя искала
И именем своим подругам называла.

5

ПОДРАЖАНИЕ ТУРЕЦКОЙ ПЕСНЕ

О, дева-роза, я в оковах;
Но не стыжусь твоих оков:
Так соловей в кустах лавровых,
Пернатый царь лесных певцов,
Близ розы гордой и прекрасной
В неволе сладостной живет
И нежно песни ей поет
Во мраке ночи сладострастной.

6

ФОНТАНУ БАХЧИСАРАЙСКОГО ДВОРЦА

Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы.

Твоя серебряная пыль
Меня кропит росою хладной:
Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!
Журчи свою мне быль...

Фонтан любви, фонтан печальный!
И я твой мрамор вопрошал:
Хвалу стране прочел я дальной;
Но о Марии ты молчал...

Светило бледное гарема!
И здесь ужель забвенно ты?
Или Мария и Зарема
Одни счастливые мечты?

Иль только сон воображенья
В пустынной мгле нарисовал
Свои минутные виденья,
Души неясной идеал?

7

ВИНОГРАД

Не стану я жалеть о розах,
Увядших с легкою весной;
Мне мил и виноград на лозах,
В кистях созревший под горой,
Краса моей долины злачной,
Отрада осени златой,
Продолговатый и прозрачный,
Как персты девы молодой.

8

Кто видел край, где роскошью природы
Оживлены дубравы и луга,
Где весело, синея, блещут воды
И пышные ласкают берега,
Где на холмы под лавровые своды
Не смеют лечь угрюмые снега?
Скажите мне: кто видел край прелестный,
Где я любил, изгнанник неизвестный?

Златой предел! любимый край Эльвины,
Туда летят желания мои!
Я помню гор высокие вершины
И беглых вод веселые струи,
И тень, и шум, и красные долины
Где бедные простых татар семьи
Среди забот и с дружбою взаимной
Под кровлею живут гостеприимной!

И шелковиц и тополей прохлада,
В тени олив уснувшие стада,
Вокруг домов решетки винограда,
Монастыри, селенья, города,
Прилива шум и говор водопада,
И средь валов летучие суда—
И яркие лучи златого Феба
И синий свод полуденного неба.

И там, где мирт шумит над падшей урной,
Увижу ль вновь сквозь темные леса
И своды скал, и моря блеск лазурный
И ясные, как радость, небеса—
Утихнет ли волненье жизни бурной?
Минувших лет воскреснет ли краса?
Приду ли вновь под сладостные тени
Душой уснуть на лоне мирной лени.

9

А. Л. ДАВЫДОВУ

Нельзя, мой толстый Аристипп:
Хоть я люблю твои беседы,
Твой милый нрав, твой милый хрип,
Твой вкус и жирные обеды;
Но не могу с тобою плыть
К брегам полуденной Тавриды.
Прошу меня не позабыть,
Любимец Вакха и Киприды!
Когда чахоточный отец
Немного тощей Энеиды
Пускался в море наконец,
Ему Гораций, умный льстец,
Прислал торжественную оду,
Где другу Августов певец
Сулил хорошую погоду.
Но льстивых од я не пишу;
Ты не в чахотке, слава богу:
У неба я тебе прошу
Лишь аппетита на дорогу.

10

РАЗГОВОР КНИГОПРОДАВЦА С ПОЭТОМ

(Отрывок)

О чем вздохнули так глубоко,
Нельзя ль узнать?
Поэт
Я был далеко:
Я время то воспоминал,
Когда, надеждами богатый,
Поэт беспечный, я писал
Из вдохновенья, не из платы.
Я видел вновь приюты скал,
И темный кров уединенья,
Где я на пир воображенья,
Бывало, музу призывал.

Там слаще голос мой звучал;
Там доле яркие виденья,
С неизъяснимою красой,
Вились, летали надо мной
В часы ночного вдохновенья.
Все волновало нежный ум:
Цветущий луг, луны блистанье,
В часовне ветхой бури шум,
Старушки чудное преданье.
Какой-то демон обладал
Моими играми, досугом;
За мной повсюду он летал,
Мне звуки дивные шептал,
И тяжким, пламенным недугом
Была полна моя глава;
В ней грезы чудные рождались;
В размеры стройные стекались
Мои послушные слова
И звонкой рифмой замыкались.
В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буйный,
Иль иволги напев живой,
Иль ночью моря гул глухой,
Иль шопот речки тихоструйной.
Тогда, в безмолвии трудов,
Делиться не был я готов
С толпою пламенным восторгом,
И музы сладостных даров
Не унижал постыдным торгом;
Я был хранитель их скупой:
Так точно в гордости немой
От взоров черни лицемерной
Дары любовницы младой
Хранит любовник суеверный.

11

К МОРЮ

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.
Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум, твой шум призывный
Услышал я в последний раз...
Моей души предел желанный!
Как часто по брегам твоим
Бродил я тихий и туманный,
Заветным умыслом томим!
Как я любил твои отзывы,
Глухие звуки, бездны глас,
И тишину в вечерний час,
И своенравные порывы!
Смиренный парус рыбарей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользит отважно средь зыбей;
Но ты взыграл, неодолимый;
И стая тонет кораблей.
Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтический побег.
Ты ждал, ты звал... я был окован;
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я.
О чем жалеть? Куда бы ныне
Я путь беспечный устремил?
Один предмет в твоей пустыне
Мою бы душу поразил.
Одна скала, гробница славы...
Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы:

Пушкин на берегу Черного моря.

Картина художника Репина и Айвазовского.

Там угасал Наполеон.
Там он почил среди мучений,
И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.
Исчез, оплаканный свободой,
Оставя миру свой венец.
Шуми, взволнуйся непогодой:
Он был, о море, твой певец...
Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен,
Как ты, ничем неукротим.
Мир опустел... Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?
Судьба людей повсюду та же:
Где благо, там уже на страже
Иль просвещенье, иль тиран.
Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.
В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу; тобою полн,
Твои скалы, твои заливы
И блеск, и тень, и говор волн.

12

БУРЯ

Ты видел деву на скале
В одежде белой над волнами,
Когда, бушуя в бурной мгле,
Играло море с берегами,
Когда луч молний озарял
Ее всечасно блеском алым,
И вечер бился и летал
С ее летучим покрывалом?
Прекрасно море в бурной мгле
И небо в блесках без лазури;
Но верь мне: дева на скале
Прекрасней волн, небес и бури.

Пушкин у Гурзуфских скал.

Картина художника Айвазовского.

13

ТАЛИСМАН

Там, где море вечно плещет
На пустынные скалы,
Где луна теплее блещет
В сладкий час вечерней мглы,
Где, в гаремах наслаждаясь,
Дни проводит мусульман,
Там волшебница, ласкаясь,
Мне вручила талисман.
И, ласкаясь, говорила:
„Сохрани мой талисман:
В нем таинственная сила!
Он тебе с любовью дан.
От недуга, от могилы,
В бурю, в грозный ураган,
Головы твоей, мой милый,
Не спасет мой талисман.
И богатствами Востока
Он тебя не одарит,
И поклонников пророка
Он тебе не покорит;
И тебя на лоно друга,
От печальных чуждых стран...
В край родной на север с юга
Не умчит мой талисман...
Но когда коварны очи
Очаруют вдруг тебя,
Иль уста во мраке ночи
Поцелуют не любя:
Милый друг! от преступленья,
От сердечных новых ран,
От измены, от забвенья
Сохранит мой талисман!“

14

СТРАНСТВОВАНИЕ ОНЕГИНА

(Отрывки)

Воображенью край священный:
С Атридом спорил там Пилад,
Там закололся Митридат,
Там пел Мицкевич вдохновенный
И, посреди прибрежных скал,
Свою Литву воспоминал.
Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля
При свете утренней Киприды,
Как вас впервой увидел я;
Вы мне предстали в блеске брачном:
На небе синем и прозрачном
Сияли груды ваших гор,
Долин, деревьев, сел узор
Разостлан был передо мною.
А там, меж хижинок татар...
Какой во мне проснулся жар!
Какой волшебною тоскою
Стеснялась пламенная грудь!
Но, Муза! прошлое забудь.
Какие б чувства ни таились
Тогда во мне—теперь их нет:
Они прошли иль изменились...
Мир вам, тревоги прошлых лет!
В ту пору мне казались нужны
Пустыни, волн края жемчужны,
И моря шум, и груды скал,
И гордой девы идеал,
И безыменные страданья...
Другие дни, другие сны;
Смирились вы, моей весны
Высокопарные мечтанья,
И в поэтический бокал
Воды я много подмешал.

15

Там на брегу, где дремлет лес священный,
Твое я имя повторял;
Там часто я бродил уединенный
И вдаль глядел... и милой встречи ждал.

16

Недавно бедный музульман
В Юрзуфе жил с детьми, с женою,
Душевно почитал священный Алькоран
И счастлив был своей судьбою.
Мехмет (так звался он) прилежно целый день
Ходил за ульями, за стадом
И за домашним виноградом,
Не зная, что такое лень.
Жену свою любил; Селима эта знала,
И каждый год ему детей она рожала;
По-нашему, друзья, хоть это и смешно,
Но у татар уж так заведено.
Фатима раз (она в то время
Несла трехмесячное бремя)—
А каждый ведает, что в эти времена
И даже самая степенная (жена)
Имеет прихоти то эти, то другие,
И боже упаси какие!—
Фатима говорит умильно муженьку:
„Мой друг, мне хочется ужасно каймаку.
Теряю память я, рассудок,
Во мне так и горит желудок;
Я не спала всю ночь—и посмотри, душа,
Сегодня, верно, (я) совсем нехороша.
Всего мне (должно опасаться),
Не смею даже почесаться,
Чтоб крошку не родить с сметаной на носу—
Такой я муки не снесу.

Любезный, миленький, красавец мой, дружочек,
Достань мне каймаку, хоть крохотный кусочек".
Мехмет разжалился, собрался;
В кушак завязал,
Детей благословил, жену поцеловал,
И в ближнюю долину побежал,
Чтобы порадовать жестокую больную.
Не шел он, а летел. Зато в обратный путь
Пустился по горам, едва-едва шагая
И скоро стал искать, совсем изнемогая,
Местечка, где бы отдохнуть.
По счастью, на конце долины
Он видит ручеек.
Добрел до берегов и лег в тени ветвей.
Журчанье вод, дерев вершины,
Душистая трава, прохладный бережок.
И тень и ветерок—
Всё нежило, всё говорило:
Люби иль почивай! Люби!
там змей
Мехмету в ум не приходило,
вот это мило.
Хоть было бы не спать
Благоразумно и верней.
Всё же Мехмет, как царь, уснул в долине.
Положим, что царям дано
Под балдахином
Хоть это, впрочем, мудрено.

17

ТАВРИДА

Ты вновь со мною, наслажденье;
(В душе) утихло мрачных дум
Однообразное волненье!
Воскресли чувства, ясен ум.
Какой-то негой неизвестной,
Какой-то грустью полон я.
Одушевленные поля,

Холмы Тавриды, край прелестный,
(Тебя я) посещаю вновь,
Пью жадно воздух сладострастья
(И) будто слышу близкой глас
Давно затерянного счастья...
Счастливый край, где блещут воды,
Лаская пышные брега,
И светлой роскошью природы
Озарены холмы, луга,
Где скал нахмуренные своды.

18

Ненастный день потух; ненастной ночи мгла
По небу стелется одеждою свинцовой;
Как привидение, за рощею сосновой
Луна туманная взошла . . .
Все мрачную тоску на душу мне наводит.
Далеко, там, луна в сиянии восходит;
Там воздух напоен вечерней теплотой;
Там море движется роскошной пеленой
Под голубыми небесами . . .
Вот время: по горе теперь идет она
К брегам, потопленным шумящими
волнами;
Там, под заветными скалами,
Теперь она сидит, печальна и одна . . .
Одна... Никто пред ней не плачет, не тоскует;
Никто ее колен в забвеньи не целует;
Одна... ничьим устам она не предает
Ни плеч, ни влажных уст, ни персей
белоснежных.
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Никто ее любви небесной не достоин.
Не правда ль: ты одна... ты плачешь...
я спокоен;
. . . . . .
Но если . . . . . .

19

(Венере), Фебу и Фемиде
Полезно посвящая дни,
Дозором ездят по Тавриде
И проповедуют Парни.

20

Приют любви, он вечно полн
Прохлады сумрачной и влажной,
Там никогда стесненных волн
Не умолкает гул протяжной.

21

Блестит луна, недвижно море спит.
Молчат сады роскошные Гассана.
Но кто же там во тьме дерев сидит
На мраморе печального фонтана?
Арап-евнух, гарема страж седой,
И с ним его товарищ молодой.
„(Мезрур), недуг тоски душевной
Не от меня сокроешь ты.
Твой мрачный взор, твой ропот гневный,
Твои свирепые мечты
Уже давно мне все сказали.
Я знаю—жизнь тебе тяжка.
А что виной твоей печали?
Мой сын, послушай старика".

22

В прохладе сладостной фонтанов
И стен, обрызганных кругом,
Поэт бывало тешил ханов
Стихов гремучим жемчугом.

На нити праздного веселья
Низал он хитрою рукой
Прозрачной лести ожерелья
И четки мудрости златой.

(Любили) Крым (п тенцы) Саади
Порой восточный краснобай

Здесь развивал (свои) тетради
И удивлял Бахчисарай.

Его рассказы (расстилались),
Как эриванские ковры,
И ими ярко (украшались)
Гиреев ханские (пиры).

Но ни один волшебник милой,
Владетель умственных даров,
Не вымышлял с такою силой
Так хитро сказок и стихов,—

Как прозорливый и (крылатый)
Поэт той чудной стороны,
Где мужи грозны и косматы,
А жены гуриям равны.

23

Сей белокаменный фонтан
Стихов узором испещренный,
(Железный ковшик)
(цепью прицепленный)

(Кто б ни был ты—пастух),
Рыбак иль странник утомленный,
Приди и пей).

24

Пока супруг тебя, красавицу младую,
Между шести других еще не заключил,
Ходи к источнику могил
И черпай воду ключевую,
И думай, милая моя:
Как невозвратная струя
Блестит, бежит и исчезает—
Так жизни (юность) убегает,
В гареме так исчезну я.

25

БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН

Многие так же, как и я, посещали сей фонтан; но иных уже нет, другие странствуют далече. Сади.

Гирей сидел, потупя взор;
Янтарь в устах его дымился;
Безмолвно раболепный двор
Вкруг хана грозного теснился.
Все было тихо во дворце;
Благоговея, все читали
Приметы гнева и печали
На сумрачном его лице.
Но повелитель горделивый
Махнул рукой нетерпеливой:
И все, склонившись, идут вон.

Один в своих чертогах он;
Свободней грудь его вздыхает.
Живее строгое чело
Волненье сердца выражает.
Так бурны тучи отражает
Залива зыбкое стекло.

Что движет гордою душою?
Какою мыслью занят он?
На Русь ли вновь идет войною,
Несет ли Польше свой закон,
Горит ли местию кровавой,
Открыл ли в войске заговор,
Страшится ли народов гор,
Иль козней Генуи лукавой?
Нет, он скучает бранной славой,
Устала грозная рука;
Война от мыслей далека.

Ужель в его гарем измена
Стезей преступною вошла,
И дочь неволи, нег и плена
Гяуру сердце отдала?

Нет, жены робкие Гирея,
Ни думать, ни желать не смея,
Цветут в унылой тишине;
Под стражей бдительной и хладной
На лоне скуки безотрадной
Измен не ведают оне.
В тени хранительной темницы,
Утаены их красоты:
Как аравийские цветы
Живут за стеклами теплицы.
Для них унылой чередой
Дни, месяцы, лета проходят
И неприметно за собой
И младость и любовь уводят.
Однообразен каждый день,
И медленно часов теченье.
В гареме жизнью правит лень;
Мелькает редко наслажденье.
Младые жены, как-нибудь
Желая сердце обмануть,
Меняют пышные уборы,
Заводят игры, разговоры,
Или при шуме вод живых,
Над их прозрачными струями
В прохладе яворов густых
Гуляют легкими роями.
Меж ними ходит злой евнух,
И убегать его напрасно:
Его ревнивый взор и слух
За всеми следует всечасно.
Его стараньем заведен
Порядок вечный. Воля хана
Ему единственный закон;
Святую заповедь Корана
Не строже наблюдает он.
Его душа любви не просит
Как истукан, он переносит:
Насмешки, ненависть, укор,
Обиды шалости нескромной,
Презренье, просьбы, робкий взор,
И тихий вздох, и ропот томный.
Ему известен женский нрав;

Он испытал, сколь он лукав
И на свободе и в неволе:
Взор нежный, слез упрек немой
Не властны над его душой;
Он им уже не верит боле.

Раскинув легкие власы,
Как идут пленницы младые
Купаться в жаркие часы,
И льются волны ключевые
На их волшебные красы,
Забав их сторож неотлучный,
Он тут; он видит, равнодушный,
Прелестниц обнаженный рой;
Он по гарему в тьме ночной
Неслышными шагами бродит:
Ступая тихо по коврам,
К послушным крадется дверям,
От ложа к ложу переходит;
В заботе вечной, ханских жен
Роскошный наблюдает сон,
Ночной подслушивает лепет;
Дыханье, вздох, малейший трепет,
Все жадно примечает он:
И горе той, чей шопот сонный
Чужое имя призывал,
Или подруге благосклонной
Порочны мысли доверял!

Что ж полон грусти ум Гирея?
Чубук в руках его потух;
Недвижим и дохнуть не смея,
У двери знака ждет евнух.
Встает задумчивый властитель;
Пред ним дверь настежь. Молча, он
Идет в заветную обитель
Еще недавно милых жен.

Беспечно ожидая хана,
Вокруг игривого фонтана

На шелковых коврах оне
Толпою резвою сидели
И с детской радостью глядели,
Как рыба в ясной глубине
На мраморном ходила дне.
Нарочно к ней на дно иные
Роняли серьги золотые.
Кругом невольницы меж тем
Шербет носили ароматный
И песнью звонкой и приятной
Вдруг огласился весь гарем.

ТАТАРСКАЯ ПЕСНЯ

1

„Дарует небо человеку
Замену слез и частых бед;
Блажен факир, узревший Мекку
На старости печальных лет.

2

Блажен, кто славный брег Дуная
Своею смертью освятит:
К нему навстречу дева рая
С улыбкой страстной полетит.

3

Но тот блаженней, о Зарема,
Кто, мир и негу возлюбя,
Как розу, в тишине гарема
Лелеет, милая, тебя“.

Они поют. Но где Зарема,
Звезда любви, краса гарема?
Увы, печальна и бледна,
Похвал не слушает она;
Как пальма, смятая грозою,
Поникла юной головою;
Ничто, ничто не мило ей:
Зарему разлюбил Гирей.

Бахчисарайский фонтан.

Картина художника Карла Брюлова.

Он изменил!.. Но кто с тобою,
Грузинка, равен красотою?
Вокруг лилейного чела
Ты косу дважды обвила;
Твои пленительные очи
Яснее дня, чернее ночи.
Чей голос выразит сильней
Порывы пламенных желаний?
Чей страстный поцелуй живей
Твоих язвительных лобзаний?
Как сердце, полное тобой,
Забьется для красы чужой?
Но, равнодушный и жестокий,
Гирей презрел твои красы
И ночи хладные часы
Проводит мрачный, одинокий
С тех пор, как польская княжна
В его гарем заключена.

Недавно юная Мария
Узрела небеса чужие;
Недавно милою красой
Она цвела в стране родной;
Седой отец гордился ею
И звал отрадою своею.
Для старика была закон
Ее младенческая воля.
Одну заботу ведал он,
Чтоб дочери любимой доля
Была, как вешний день, ясна,
Чтоб и минутные печали
Ее души не помрачали,
Чтоб даже замужем она
Воспоминала с умиленьем
Девичье время, дни забав,
Мелькнувших легким сновиденьем.
Все в ней пленяло: тихий нрав,
Движенья стройные, живые
И очи томно голубые.
Природы милые дары

Она искусством украшала;
Она домашние пиры
Волшебной арфой оживляла;
Толпы вельмож и богачей
Руки Мариной искали,
И много юношей по ней
В страданьи тайном изнывали.
Но в тишине души своей
Она любви еще не знала
И независимый досуг
В отцовском замке меж подруг
Одним забавам посвящала.

Давно ль? И что же? Тьмы татар
На Польшу хлынули рекою:
Не с столь ужасной быстротою
По жатве стелется пожар.
Обезображенный войною,
Цветущий край осиротел;
Исчезли мирные забавы;
Уныли села и дубравы,
И пышный замок опустел.
Тиха Мариина светлица...
В домовой церкви, где кругом
Почиют мощи хладным сном,
С короной, с княжеским гербом,
Воздвиглась новая гробница...
Отец в могиле, дочь в плену,
Скупой наследник в замке правит
И тягостным ярмом бесславит
Опустошенную страну.

Увы! Дворец Бахчисарая
Скрывает юную княжну:
В неволе тихой увядая,
Мария плачет и грустит.
Гирей несчастную щадит:
Ее унынье, слезы, стоны
Тревожат хана краткий сон.
И для нее смягчает он

Гарема строгие законы.
Угрюмый сторож ханских жен
Ни днем, ни ночью к ней не входит;
Рукой заботливой не он
На ложе сна ее возводит;
Не смеет устремиться к ней
Обидный взор его очей;
Она в купальне потаенной
Одна с невольницей своей;
Сам хан боится девы пленной
Печальный возмущать покой;
Гарема в дальнем отделенье
Позволено ей жить одной:
И, мнится, в том уединенье
Сокрылся некто неземной.
Там день и ночь горит лампада
Пред ликом девы пресвятой;
Души тоскующей отрада,
Там упованье в тишине
С смиренной верой обитает,
И сердцу все напоминает
О близкой лучшей стороне...
Там дева слезы проливает
Вдали завистливых подруг;
И между тем, как все вокруг
В безумной неге утопает,
Святыню строгую скрывает
Спасенный чудом уголок.
Так сердце, жертва заблуждений,
Среди порочных упоений,
Хранит один святой залог,
Одно божественное чувство...
. . . . . .
Настала ночь; покрылись тенью
Тавриды сладостной поля;
Вдали под тихой лавров сенью
Я слышу пенье соловья;
За хором звезд луна восходит;
Она с безоблачных небес
На долы, на холмы, на лес

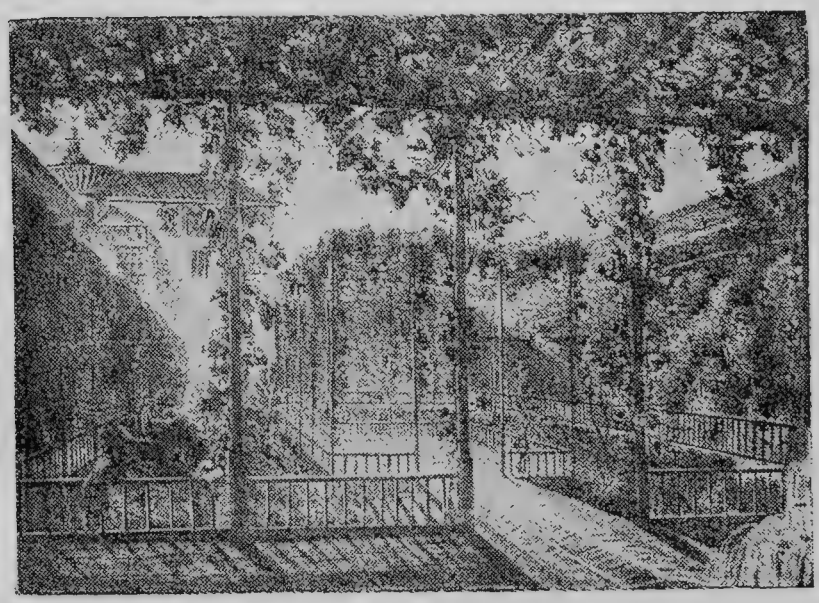
Сиянье томное наводит.
Покрыты белой пеленой,
Как тени легкие мелькая,
По улицам Бахчисарая
Из дома в дом, одна к другой,
Простых татар спешат супруги
Делить вечерние досуги.
Дворец утих; уснул гарем,
Объятый негой безмятежной;
Не прерывается ничем
Спокойство ночи. Страж надежный,
Дозором обошел евнух.
Теперь он спит; но страх прилежный
Тревожит в нем и спящий дух.
Измен всечасных ожиданье
Покоя не дает уму.
То чей-то шорох, то шептанье,
То крики чудятся ему;
Обманутый неверным слухом,
Он пробуждается, дрожит,
Напуганным приникнув ухом...

Вид на мавзолей Дилары Бикеч в Бахчисарае.
Старинная литография.

Но все кругом его молчит.
Одни фонтаны сладкозвучны
Из мраморной темницы бьют,
И с милой розой неразлучны
Во мраке соловьи поют;
Евнух еще им долго внемлет,
И снова сон его объемлет.

Как милы темные красы,
Ночей роскошного Востока!
Как сладко льются их часы
Для обожателей Пророка!
Какая нега в их домах,
В очаровательных садах,
В тиши гаремов безопасных,
Где под влиянием луны
Все полно тайн и тишины
И вдохновений сладострастных.
. . . . . .
Все жены спят. Не спит одна.
Едва дыша, встает она;
Идет; рукою торопливой
Открыла дверь; во тьме ночной
Ступает легкою ногой...
В дремоте чуткой и пугливой
Пред ней лежит евнух седой.
Ах, сердце в нем неумолимо;
Обманчив сна его покой!
Как дух, она проходит мимо.
. . . . . .
Пред нею дверь; с недоуменьем
Ее дрожащая рука
Коснулась верного замка...
Вошла, взирает с изумленьем...
И тайный страх в нее проник.
Лампады свет уединенный,
Кивот, печально озаренный,
Пречистой девы кроткий лик
И крест, любви симво́л священный...
Грузинка, все в душе твоей

Родное что-то пробудило,
Всё звуками забытых дней
Невнятно вдруг заговорило.
Пред ней покоилась княжна,
И жаром девственного сна
Ее ланиты оживлялись
И, слез являя свежий след,
Улыбкой томной озарялись:
Так озаряет лунный свет
Дождем отягощенный цвет;
Спорхнувший с неба, сын эдема,
Казалось, ангел почивал
И сонный слезы проливал
О бедной пленнице гарема...
Увы, Зарема, что с тобой?
Стеснилась грудь ее тоской,
Невольно клонятся колени,
И молит: „Сжалься надо мной,
Не отвергай моих молений!..“
Ее слова, движенье, стон,



Внутренний садик Бахчисарайского дворца.
Редкая литография, исполненная в 1829 г. худ. П. Свиньиным.

Прервали девы тихий сон.
Княжна со страхом пред собою
Младую незнакомку зрит;
В смятенье, трепетной рукою
Ее подъемля, говорит:
„Кто ты?... Одна, порой ночною,
Зачем ты здесь?“—„Я шла к тебе
Спаси меня; в моей судьбе
Одна надежда мне осталась...
Я долго счастьем наслаждалась,
Была беспечней день от дня...
И тень блаженства миновалась;
Я гибну. Выслушай меня.

Родилась я не здесь, далеко,
Далеко... но минувших дней
Предметы в памяти моей
Доныне врезаны глубоко.
Я помню горы в небесах,
Потоки жаркие в горах,
Непроходимые дубравы,
Другой закон, другие нравы;
Но почему, какой судьбой
Я край оставила родной,
Не знаю; помню только море.
И человека в вышине
Над парусами...
Страх и горе
Доныне чужды были мне;
Я в безмятежной тишине
В тени гарема расцветала
И первых опытов любви
Послушным сердцем ожидала.
Желанья тайные мои
Сбылись. Гирей для мирной неги
Войну кровавую презрел,
Пресек ужасные набеги
И свой гарем опять узрел.
Пред хана в смутном ожиданье
Предстали мы. Он светлый взор

Остановил на мне в молчанье,
Позвал меня... и с этих пор
Мы в беспрерывном упоенье
Дышали счастьем; и ни раз
Ни клевета, ни подозренье,
Ни злобной ревности мученье,
Ни скука не смущали нас.
Мария, ты пред ним явилась...
Увы, с тех пор его душа
Преступной думой омрачилась!
Гирей, изменою дыша,
Моих не слушает укоров;
Ему докучен сердца стон;
Ни прежних чувств, ни разговоров
Со мною не находит он.
Ты преступленью не причастна;
Я знаю, не твоя вина...
И так послушай: я прекрасна;
Во всем гареме ты одна
Могла б еще мне быть опасна;
Но я для страсти рождена,
Но ты любить, как я, не можешь;
Зачем же хладной красотой
Ты сердце слабое тревожишь?
Оставь Гирея мне: он мой;
На мне горят его лобзанья,
Он клятвы страшные мне дал;
Давно все думы, все желанья
Гирей с моими сочетал;
Меня убьет его измена...
Я плачу; видишь, я колена
Теперь склоняю пред тобой,
Молю, винить тебя не смея,
Отдай мне радость и покой,
Отдай мне прежнего Гирея...
Не возражай мне ничего;
Он мой: он ослеплен тобою;
Презреньем, просьбою, тоскою,
Чем хочешь, отврати его;
Клянись... (хоть я для Алкорана

Между невольницами хана,
Забыла веру прежних дней,
Но вера матери моей
Была твоя) клянись мне ею
Зарему возвратить Гирею...
Но слушай: если я должна
Тебе... кинжалом я владею,
Я близ Кавказа рождена".

Сказав, исчезла вдруг. За нею
Не смеет следовать княжна.
Невинной деве непонятен
Язык мучительных страстей;
Но голос их ей смутно внятен,
Он странен, он ужасен ей.
Какие слезы и моленья
Ее спасут от посрамленья?
Что ждет ее? Ужели ей
Остаток горьких юных дней
Провесть наложницей презренной?
О боже! если бы Гирей
В ее темнице отдаленной
Забыл несчастную навек,
Или кончиной ускоренной
Унылы дни ее пресек.
С какою б радостью Мария
Оставила печальный свет!
Мгновенья жизни дорогие
Давно прошли, давно их нет!
Что делать ей в пустыне мира?
Уж ей пора. Марию ждут
И в небеса на лоно мира
Родной улыбкою зовут.

. . . . . .

Промчались дни; Марии нет.
Мгновенно сирота почила.
Она давно-желанный свет,
Как новый ангел, озарила.
Но что же в гроб ее свело?
Тоска ль неволи безнадежной,

Болезнь, или другое зло,
Кто знает? Нет Марии нежной!..
Дворец угрюмый опустел,
Его Гирей опять оставил;
С толпой татар в чужой предел
Он злой набег опять направил;
Он снова в бурях боевых
Несется мрачный, кровожадный;
Но в сердце хана чувств иных
Таится пламень безотрадный.
Он часто в сечах роковых
Подъемлет саблю и с размаха
Недвижим остается вдруг,
Глядит с безумием вокруг,
Бледнеет, будто полный страха,
И что-то шепчет, и порой
Горючи слезы льет рекой.

Забытый, преданный презренью,
Гарем не зрит его лица;
Там, обреченные мученью,
Под стражей хладного скопца
Стареют жены. Между ними
Давно грузинки нет; она
Гарема стражами немыми
В пучину вод опущена.
В ту ночь, как умерла княжна,
Свершилось и ее страданье.
Какая б ни была вина,
Ужасно было наказанье!

Опустошив огнем войны
Кавказу близкие страны
И села мирные России,
В Тавриду возвратился хан
И в память горестной Марии
Воздвигнул мраморный фонтан
В углу дворца уединенный.
Над ним крестом осенена
Магометанская луна

(Символ, конечно, дерзновенный,
Незнанья жалкая вина).
Есть надпись: едкими годами
Еще не сгладилась она.
За чуждыми ее чертами
Журчит во мраморе вода
И каплет хладными слезами,
Не умолкая никогда.
Так плачет мать во дни печали
О сыне, падшем на войне.
Младые девы в той стране
Преданье старины узнали,
И мрачный памятник оне
Фонтаном слез именовали.

Покинув север наконец,
Пиры надолго забывая,
Я посетил Бахчисарая
В забвеньи дремлющий дворец;
Среди безмолвных переходов
Бродил я там, где, бич народов,
Татарин буйный пировал
И после ужасов набега
В роскошной лени утопал.
Еще поныне дышит нега
В пустых покоях и садах;
Играют воды, рдеют розы,
И вьются виноградны лозы,
И злато блещет на стенах.
Я видел ветхие решетки,
За коими, в своей весне,
Янтарны разбирая четки,
Вздыхали жены в тишине.
Я видел ханское кладбище,
Владык последнее жилище.
Сии надгробные столбы,
Венчанны мраморной чалмою,
Казалось мне, завет судьбы
Гласили внятною молвою.
Где скрылись ханы? Где гарем?
Кругом все тихо, все уныло,

Все изменилось... но не тем
В то время сердце полно было:
Дыханье роз, фонтанов шум
Влекли к невольному забвенью,
Невольно предавался ум
Неизъяснимому волненью,
И по дворцу летучей тенью
Мелькала дева предо мной...
. . . . . .
Чью тень, о други, видел я?
Скажите мне: чей образ нежный
Тогда преследовал меня
Неотразимый, неизбежный?
Марии ль чистая душа
Являлась мне, или Зарема
Носилась, ревностью дыша,
Средь опустелого гарема?

Я помню столь же милый взгляд
И красоту еще земную...
. . . . . .
. . . . . .

Поклонник муз, поклонник мира,
Забыв и славу и любовь,
О, скоро вас увижу вновь,
Брега веселые Салгира!
Приду на склон приморских гор,
Воспоминаний тайных полный,
И вновь таврические волны
Обрадуют мой жадный взор.
Волшебный край, очей отрада!
Все живо там: холмы, леса,
Янтарь и яхонт винограда,
Долин приютная краса,
И струй, и тополей прохлада—
Всё чувства путника манит,
Когда, в час утра безмятежный,
В горах, дорогою прибрежной,
Привычный конь его бежит,
И зеленеющая влага
Пред ним и блещет и шумит
Вокруг утесов Аю-Дага...

ВЫПИСКА ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ТАВРИДЕ И. М. МУРАВЬЕВА-АПОСТОЛА

(Приложена Пушкиным к его поэме)

„Вчера ввечеру, подъехав к Бахчисараю и спустившись в ущелину, в которой он лежит, я засветло успел только проехать длинную улицу, ведущую к Хан-сараю (т. е. к ханскому дворцу), на восточном конце города находящемуся. Солнца давно уже не видно было за горами, и сумрак начинал сгущаться, когда я вступил на первый двор сарая. Это не помешало мне пробежать по теремам и дворам таврической Аламбры; и чем менее видимы становилися предметы, тем живее делалась игра воображения моего, наполнявшегося радужными цветами восточной поэзии.

Я поведу тебя, мой друг, не из покоев, но так, как должно, от внешних ворот, в которые проезд с улицы, по мосту, через узкую Грязную речку, Сурук-Су. Прошед в ворота, ты на первом дворе, на пространном параллелограме, коего противоположный входу, малый бок граничит с садовыми террасами; оба же большие заняты на левой стороне мечетью и службами, а с правой—дворцом, состоящим из смежных не одинаковой высоты зданий. На этой правой стороне, через ворота, под строением находящиеся, ты проходишь во внутренний двор, где тотчас на левой руке представляются тебе железные двери, пестро в арабском вкусе украшенные, с двуглавым над ним орлом, занявшим место оттоманской луны.

Переступив за порог, ты в пространных сенях, на мраморном помосте и на правой руке видишь широкое крыльцо, ведущее на верхние палаты. Но сперва остановимся в сенях и посмотрим на два прекрасные фонтана, беспрестанно лиющие воду из стен в белые мраморные чаши: один насупротив дверей, другой тотчас налево.

Дабы не оставить ничего недосказанным о сем нижнем

помосте, заметим широкий коридор от левого угла противоположной входу стены, ведущий прямо в домовую ханскую божницу, над дверью коей начертано:

Селамид-Гирей хан, сын Гаджи-Селим-Гирея хана[1].

Другая дверь того же коридора налево дает вход в большую комнату, где диван вокруг стен до половины покоя, с мраморным посреди одного водометом. Это убежище прелестно прохладою в знойные часы, когда раскаляются от жару окружающие Бахчисарай горы. Третья дверь ведет в ханский диван, т. е. в комнату, где собирался государственный совет; в нее есть вход и чрез переднюю, снаружи от большого двора.

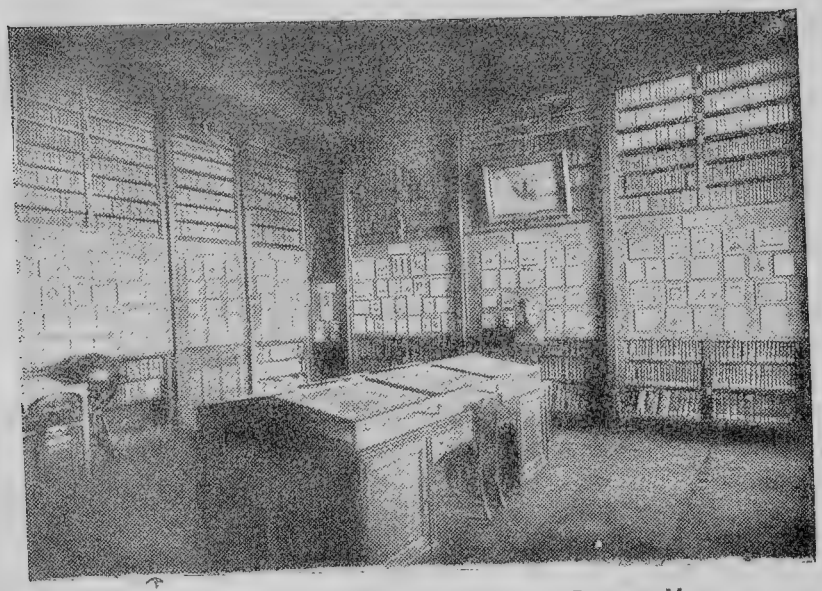
Когда я опишу тебе одну из зал верхнего жилья, ты будешь иметь понятие о всех прочих, разнствующих между собою одним только большим или меньшим украшением на стенах. Как фасад строения не по прямой черте, а городками, то первое должно заметить, что главные залы освещены с трех сторон, т. е. все из фасада выступающие оных стены всплошь окончатые. Другого входа в залу нет, кроме одной двери боковой, неприметной, между пилястрами аравского вкуса, между коими и шкафы, также неприметные, находятся по всей темной этой стене. Над оными стекла (в лучших залах) снутри и снаружи покоя, до потолка, между коими стоят украшения лепной работы, как-то: чаши с плодами, с цветами, или деревца с чучелами разных птиц. Потолки так же, как и темная стена— столярной работы и весьма красивы: это тоненькая вызолоченная решетка, лежащая на лаковом грунте густого красного цвета. На полу я увидел знакомые мне по Испании эстеры, т. е. рогожки, весьма искусно сплетенные из тростника, род гениста, и употребляемые вместо ковров на полах кирпичных или каменных. Для защиты от яркости лучей в комнате, с трех сторон освещенной, кроме ставней, служат еще и цветные, узорчатые стекла в окнах, любимое рыцарских замков украшение, без сомнения, занятое европейцами от восточных народов, во время крестовых походов. Если в заключение сего общего описания ты представишь себе диван, т. е. подушки, некогда из шелковых тканей, на полу лежащие вокруг всех стен,

[1] Селамид владел от 1587 до 1610.

исключая темной, ты будешь иметь понятие о лучших залах дворца, кроме трех или четырех, переделанных для императрицы Екатерины II в европейском вкусе, с высокими диванами, креслами и столами. Сия последняя утварь особливо драгоценна для нас крещеных, ибо во всех странах, где проповедуется Коран, правоверные вместо столов употребляют низкие круглые скамьи, на которых ставят подносы и едят на них, сидя, поджав под себя ноги, на полу.

Ты легко догадаться можешь, что в стороне от сего строения находился гарем, неприступный для всех, кроме хана, и для него одного имеющий сообщение чрез коридор с дворцом. Эта часть более всех в упадке. Разные домики, в коих некогда жертвы любви, или, лучше сказать, любострастия, томилися в неволе, представляют теперь печальную картину разрушения: обвалившиеся потолки, изломанные полы. Время сокрушило узилище; но что в том пользы, когда то же время, роком узницам определенное, протекло для них безотрадно, в рабских угождениях одному, не по сердцу избранному другу, но жестокому властелину. На краю сего гарема стоит на большом дворе высокая шестиугольная беседка, с решетками вместо окон, из которой, как сказывают, ханские жены, невидимые, смотрели на игры, въезды послов и другие позорища. Иные говорят, будто тут хан любовался фазанами и показывал их любимцам своим. Это последнее потому только вероятно, что петух с семейством своим есть единственная картина, которую супруг-мусульман может представлять невольницам своим в оправдание многоженства. Между сею полусогнившею беседкою и комнатою, о которой я говорил, на нижнем помосте с мраморным фонтаном, есть прекрасный цветничок, где мирт и розы могли некогда внушать песни татарскому Анакреону.

Но пора оставить сии грудь теснящие памятники невольничества и выйти подышать на чистом воздухе. Вот насупротив больших ворот, на конце двора, к горе примыкающегося, террасы, в четыре уступа, на коих плодоносные деревья, виноград на решетках и прозрачные источники, с уступа на другой лиющиеся в каменные бассейны. Может быть, некогда мурзы-царедворцы, уподобляя Гиреев владыкам Вавилона, сравнивали и террасы их с висящими



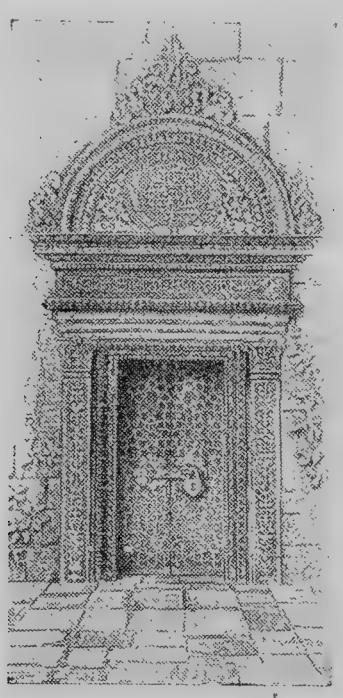
Пушкинская выставка в Алупкинском Дворце-Музее.

садами Семирамиды; но теперь крымское чудо сие представляет вид опустения, так как и все памятники в Тавриде. Более всего жаль драгоценнейшего здесь сокровища, воды: многие трубы уже засорились, а некоторые источники и совсем исчезли.

За мечетью, вне двора—кладбище ханов и султанов владетельного дома Гиреев. Прах их покоится под белыми мраморными гробницами, осененными высокими тополями, ореховыми и шелковичными деревьями. Тут лежат Менгли и отец его, основатель могущества царства Крымского. Все памятники покрыты надписями.

Прежде нежели оставить сию юдоль сна непробудного, я укажу тебе отсюда на холм, влево от верхней садовой террасы, на коем стоит красивое здание с круглым куполом: это мавзолей прекрасной грузинки, жены Хана Керим-Гирея. Новая Заира, силою прелестей своих, она повелевала тому, кому все здесь повиновалось; но не долго: увял райский цвет в самое утро жизни своей, и безотрадный Керим сооружил любезной памятник сей, дабы ежедневно входить в оный и утешаться слезами над прахом незабвенной. Я сам хотел поклониться гробу красавицы, но нет уже более

входа к нему: дверь наглухо заложена. Странно очень, что все здешние жители непременно хотят, чтобы эта красавица была не грузинка, а полячка, именно какая-то Потоцкая, будто бы похищенная Керим-Гиреем. Сколько я ни спорил с ними, сколько ни уверял их, что предание сие не имеет никакого исторического основания, и что во второй половине XVIII века не так легко было татарам похищать полячек; все доводы мои остались бесполезными: они стоят в одном: красавица была Потоцкая; и я другой причины упорству сему не нахожу, как разве принятое и справедливое мнение, что красота женская есть, так сказать, принадлежность рода Потоцких".



ПРИМЕЧАНИЕ

Не имея возможности работать над пушкинскими рукописями в подлинниках, нами приведены в настоящей работе пушкинские тексты по „Полному собранию соч. А. С. Пушкина“ под общей редакцией Д. Бедного, Э. В. Луначарского, П. Н. Сакулина, В. И. Соловьева, М. А. Цявловского и П. Г. Щеголева издание ГИЗ 1934 г. и по однотомнику сочинений Пушкина под редакцией Б. Томашевского, издание ГИЗ 1936 г.

Впоследствии, когда настоящее издание было уже отпечатано, нами произведено сличение пушкинских текстов по выпускаемому в настоящее время издательством „Academia“ юбилейному „Полному собранию сочинений Пушкина“. При этом оказалось, что в текстах вышеупомянутых прежних изданий и последнего издания „Academia“ встречается целый ряд различий не только пунктуационного, но и текстуального порядка.

Не приводя пунктуационные различия в виду их многочисленности, мы укажем только на ряд различий в текстах. Так, например, в напечатанном в настоящем издании по однотомнику под редакцией Б. Томашевского посвящении к поэме „Кавказский пленник“ последние пять строк изложены так:

Я жертва клеветы, измены и невежд;
Но сердце укрепив свободой и терпеньем,
Я ждал беспечно лучших дней;
Поэт не унывал—и счастие друзей
Мне было сладким утешеньем.

В последнем же издании „Academia“ изменены первая и четвертая строки:

Я жертва клеветы и мстительных невежд;
Но сердце укрепив свободой и терпеньем,
Я ждал беспечно лучших дней
И счастие моих друзей
Мне было сладким утешеньем.

В стихотворении „Погасло дневное светило“ однотомник помещает такую редакцию—

Искатель новых приключений,
Я вас бежал, отечески края;

а в издании „Academia“—

Искатель новых впечатлений,
Я вас бежал, отечески края;

Третья строчка стихотворения—„Пока супруг тебя, красавицу младую“ в полном собрании сочинений А. С. Пушкина изд. ГИЗ 1934 г. приведена в такой редакции—

Ходи к источнику могил..

а в издании „Academia“—

Ходи к (фонтану близ) могил...

В поэме „Бахчисарайский фонтан“, напечатанной в издании „Academia“ после строк—

Я помню столь же милый взгляд
И красоту еще земную...

помещены еще следующие строки:

Все думы сердца к ней летят,
Об ней в изгнании тоскую...
Безумец! Полно, перестань,
Не оживляй тоски напрасной!
Мятежным снам любви несчастной
Заплачена тобою дань.—
Опомнись, долго ль, узник томный,
Тебе оковы лобызать
И в свете лирою нескромной
Свое безумство разглашать?

каковые отсутствуют в издании ГИЗ 1934 г. и однотомнике: под редакцией Б. Томашевского.

В книге замечены следующие неправильности: на 11 стр. напечатано: „В неволе, в бедности, в степях“, следует читать „В неволе, бедности, изгнании, в степях“.

На 40 стр. напечатано: „Смотрел за ульями, за садом“, следует читать: „Ходил за ульями, за стадом“.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
От автора	3
Ссылка на юг	5
Раевские. Путешествие. Кавказ	11
Первые впечатления в Крыму	16
Гурзуф	24
Жизнь в Гурзуфе	33
Пушкин и крымские татары	38
Поездка по Южному берегу	47
Георгиевский монастырь	52
Бахчисарай	59
Симферополь. Отъезд из Крыма	66
Хронология путешествия А. С. Пушкина по Крыму и Кавказу	75
Библиография по вопросу пребывания в Крыму Пушкина	76
Крымские стихотворения А. С. Пушкина	77

Сдано в производство 26/XII-36 г. Подписано к печати 29/I-37 г.
Формат бумаги 62×94 1/16. Бум. листов 3 3/4. Авторск. лист. 5,15. Печатн. лист. 7 1/2.
В печ. листе 36 тыс. зн. Крымгиз № 277. Уполн. Главлита Крым. АССР № А-238.
Тираж 15000 экз.

1-я Гостипография Крымполиграфтреста. Симферополь, ул. Кирова, 23.
Заказ № 4364.

5-00

50 p.

11242

Цена 2 р. 50 к.
Переплет 50 к.

Госиздат Крым. АССР. Симферополь, Улица Горького, 5